

Annotation

В сборник популярного писателя пушкинской поры Александра Фомича Вельтмана (1800-1870) вошли его исторические произведения, не переиздававшиеся ни в XIX, ни в XX веке: "Кощей бессмертный", "Светославич, вражий питомец", "Райна, королева Болгарская".

"Талант Вельтмана, - писал В.Г.Белинский в 1836 году, - самобытен и оригинален в высочайшей степени, он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал какой-то особый, ни для кого не доступный мир, его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему".

Былина старого времени

- [Часть первая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)

- [Часть вторая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
- [Часть третья](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
- [Комментарии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)

- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)

- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)

- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)

- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)

- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)

- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Часть первая

Слишком за четыре столетия до настоящего времени, в Княжестве Киевском, в селе Облазне, за овинами, на лугу, взрослые ребята играли в чехорду.^[1]

— Матри, матри, Вась! — вскричал один из наездников, рыжий молодец; надулся, размахнул руками, раскачался, бросился вперед, как испуганный теленок, и — скок через восемь перегнутых в дугу спин.

— А! на девятой сел! — вози! — раздался голос из-за забора.

Этот голос был знаком нашим наездникам. Все выправились и сняли шапки перед баричем.

— Ну! ты, Ионка, — колесница, ты, Юрка, — конь! — вскричал он и длинным арапником вытянул коня вдоль спины, а другим ударом смазал колеса у колесницы.

Ион и Юрка зачесали голову, стиснули ясные очи, развесили губы; крупные слезы брызнули как из родника. Барич не смотрел на их прискорбие. Юрку взнуздal он длинной тесьмой, которую всегда носил с собою, на всякий случай, вместо вожжей, вместо своры и вместо узды; выправил ее, вскочил на спину Иона, хлопнул бичом по воздуху, свистнул, гаркнул: "На дыбы! катись!" — и отправился вдоль по селению.

Крестьяне кланялись в землю баричу, будущему своему господину-милостивцу.

Это обстоятельство осталось бы, верно, в забвении, подобно многим, по наружности ничтожным, а в сущности важным обстоятельствам, на которые История не обращает своего заботливого внимания, если б я не последовал исступленной моде писать Романы и не подражал Апулею, Петронию, Клавдию Албинию, Папе Пию 11-му, Гелиодоту и всем, всем древним, средним и новым романистам.

Бедный читатель! Кто не пользовался твоею слабостью, твоей доверчивостью! Кто не водил тебя по терниям слога, по развалинам предмета, по могилам смысла, по пучине несообразностей?

Баричу было уже лет около двадцати от роду. Он был среднего роста, как вообще все великие люди; был здоров и красен лицом.

В настоящее время его родительница положила бы единородного своего сына на картах бубновым королем.

Всех прочих телесных и душевных достоинств его невозможно передать несколькими словами. Время и подвиги, которые отличают героев

и гениев от людей обыкновенных, покажут потомству: кто был барич и как его звали, величали.

Но кто бы отказался взглянуть, как барич едет верхом на Юрке, как на коне Актазе Мстислава Мстиславича, *якого же в та лета не бысть*; как склонилась набок его красивая шапочка, *как злат шелом посвечивая*; как распахнулись узорчатые полы татарского халата; как старый Тир, пестун барина, трух, трух, а инде рысью, следовал за дитятем своим.

Кто отказался бы взглянуть, как *сельский Тивоун*,^[2] заметив издали, что барич *волит* тешиться, встречает его у ворот *медовиком*; и как барич подъезжает, останавливает коня и колесницу, принимает от Тиуна и поклон, и кусок медовика и едет далее.

Какой бы любопытный путешественник от стран вечерних, смотря на поезд барича, не составил в уме своем какой-нибудь странной идеи о обычаях Руси?

Что не делают превратные понятия?

Пестун Тир был немного туп от природы.

Минерва никогда не решилась бы принять на себя его наружности, если б боги брали такое же участие в героях Русских, как и в Греческих.

Однако же Тир умел постигать все изречения, волю и приказы милостивых господ своих. Смиренно внимал он словам их, стоя почтительно у дверей.

Восклицания: *"Так, государь, родной отец, так, вот-те бог, так! Так, государыня, боярыня, матушка, вестимо так!"* — дали об уме его выгодное мнение, и Тира определили из дворовых сторожей в дядьки к юному баричу.

На нем-то барич выучился ездить верхом; от него-то наслышался о подвигах Русских храбрых витязей и могучих богатырей; и вот первые впечатления души взросли не годами, а часами, как Боба Королевич, — и сделались великанами впоследствии.

II

Хотя барич был плодом более торгового расчета дедушки, нежели взаимной любви его родителей, но в нем было много особенных качеств, по которым отец и мать предвидят в своем сыне великого человека. Боярин Пута-Зарев умер с уверенностью, что его сын есть надежная, добрая отрасль прославленного в Новгороде поколения того *Пидоблянина*, который вез в город *горнцы*^[3] и увидел что сверженный Новгородцами в Волхов Перун приплыл снова к берегу, отринул его шестом и рек: "Ты, Перунице, досыти еси пил и ял; а ныне плыви уже проче".

Правдивую повесть о роде Путы-Заревых можно было бы начать от походов Славян с Одином^[4] или даже со времени данной им Александром Филипповичем, Царем Македонским, грамоты за заслуги на владение всею северною землею, даже до границ последних полудня Италийского и до гор Персидских.^[5] Но что баснословно, темно, подвержено сомнениям и не основано на сказаниях письмен гиероглифических, символических или рунических, то чистый рассудок отвергает: ему нужна истина — истина неоспоримая, подтвержденная выноскою внизу страницы или примечанием в конце книги.

Начинаю с времен чисто Исторических; даже после того времени, когда Руссы просили помощи у Варягов против нашествия Славян, в исходе IV столетия,^[6] даже позже призвания Немцев Рюрика, Синава и Труара на стол Новгородский.^[7]

В 1170 году, когда поднялась вся земля Русская на Новгород и Новгородцы обнесли весь город деревянным тыном, и потом, не усидев в осаде, высыпали из стен, врезались в стан неприятельский, положили часть врагов на месте, другую часть взяли в плен, а третью прогнали — тогда, в числе одного десятка пленных Суздальцев, проданных за одну гривну *Степенному Тысяцкому*,^[8] Коле-Ораю, был Олег Пута.

В древнем Новгороде тысяцкий — помощник посадника, ведавший городским войском и укреплениями, а также судом по торговым делам. Выбирался из бояр на вече, обычно на год. Посадник — высшее государственное лицо в Новгородской феодальной республике — также избирался вечем. — А. Б. }

Он не горевал, несмотря на то, что половина бороды его была вырвана одним новгородским *вершником*,^[9] два пальца на левой руке отрублены

другим и из верхней челюсти выбиты два зуба третьим.

"Ничего!" — думал он, ибо был уверен в своей счастливой будущности.

Однажды Тысяцкий Орай воротился с Веча, где увечали^[10] строить, в честь и память победы, одержанной Новгородцами над соединенными Князьями, храм Знамения Богоматери и положили мир с Андреем Боголюбским.

В светлице стол был уже убран яствами. Жена Орая встретила его в дверях; вся семья собралась; в числе ее заметны были: старушка, помнившая, как Перуна привязали к конскому хвосту и свезли в Волхов, да внучка ее, дочь Тысяцкого, девушка, какой в Новгороде другой не было.

Помолились богу, поклонились низменно образам, а потом друг другу и сели за браный стол молча.

Мир с князем Андреем напомнил Тысяцкому о пленных Суздальцах. Один из них, купленный также за две *ногаты*,^[11] был не простого рода, не из *смерды*.^[12]

Тысяцкий велел его привести к себе.

— А то Суждальцю, каково-ти от хлеба Ноугорочьково?

— Чествую, господине Тысячьский, солнце тепло и красно, простре горячую лучю своею и на небозиих, — отвечал весело Суздалец.

— Шо радует ти? Ноугорочьское сердце плакалось бы по воле, яко Израиля при Фаравуне Царю Еюпетстем?

— Вольно мне радоватися горю, и я волен! — отвечал Олег Пута.

Веселый взор внушает доверенность. А так как после увечанья Суздальцы вообще вздоржали, то Тысяцкий Орай посадил Олега с собою за стол.

— Испей Волхови! — сказал хозяин, поднося стопу, наполненную Фряжским вином.^[13] Даю тебе волю, иди в Суждаль с богом!

Олег Пута встал, поблагодарил Тысяцкого за милость; но, едва поднес он стопу к устам своим, осененным густыми, черными усами, едва закинул голову назад и приподнял очи, что-то блеснуло перед ним; он остановился, взглянул пристально, еще пристальнее, выпил вино и задумался.

Против него сидела Свельда.

III

Дом Тысяцкого Колы-Орая стоял красными окнами на улицу Щитную, находившуюся на Торговой стороне, в Славянском конце.^[14]

Плавный Волхов подмывал серебряными струями своими корни столетних лип, принадлежавших к саду, в котором Свельда гуляла или пела с подругами, девами Новгородскими, песни, в посидельнике, построенном на самом берегу реки Волхова.

— О! — сказал Олег в тот же еще день, в который объявили ему волю. — Буря занесла сокола в землю чуждую; испил Волхова, взглянул на Новгородскую деву, и уже крылья его не ширяют!^[15] Не хочет он лететь в родную землю!

Чу, красные воспели на берегу светлого Волхова!

Спустившись с широких сеней, по тесовому крыльцу, на зеленый двор, Олег скользнул в калитку, ведущую в градину,^[16] между деревьями пробрался он к самому посидельнику.

Притаился за углом в кусте синели и видел сквозь окно ряды дев, занятых рукодельем.

Они пели.

Олег заучил слова; полюбились ему песня:

Чему ты мое веселье
По ковылю веешь?
Чему ты на злак излила
Студеную росу?
Веща душа в дружной теле,
Сглядай мои слезы!
Изрони ты слово злато,
Взлелей мою радость:
Я люблю ти, голубицу,
Жемчужную душу!
Все девы были хороши; а одна лучше всех.
Олег смотрел на Свельду.

Он видел, как жемчужная повязка обняла ее чело; как решетчатая, с вплетенными золотыми тесьмами, широкая коса спускалась до пояса; как

узороцье^[17] из голубой цветной *паволоки*^[18] пристало к ней; как *кропная руба*,^[19] тонкая, белая, обшитая цветною *бахромю*, прилегла к плечам ее и беспокойно волновалась, когда из белой груди вырывались нежные звуки, а иногда и глубокий вздох; видел, как перловая нить обвивала шею Свельды; а *жуковины*^[20] с камнями честными светились на маленьких пальчиках; а *златокованный пояс* крепко, крепко обвил стан ее; а *япончица червленая*,^[21] наброшенная на плечи, скатилась с них; а сафьянные торжокские черевички с тесьмами, как змеи, обвились около малюток ног.

Все это он видел, милые читатели! Как не позавидовать глазам, которые так пристально смотрят на существо нежное, в котором все ново, полно, пышно, таинственно, все невинно!

Злодей! он притаился за кустом! он задыхается от чувств, которых наши прародители не называли просто *любовью*, а почитали внушением божеским или наваждением дьявольским. Горючее вещество, наполнявшее древние сердца, было неутушимо! Впрочем, грех нам завидовать прошедшему: и в нас есть столько готических, патриархальных чувств! Возьмите в пример хоть откровенность.

Светлые струи Волхова уже померкли; только еще на Ильмене было рассыпано несколько лучей вечернего солнца. Красные девушки скрылись из посидельника; рассыпались по тропинкам сада; *ау* переносилось из куста в куст и вторилось в отдалении.

Олег взобрался на холм и прилег на мягкой мураве. Смотрел он на зеркальное озеро, на каменные палаты и многоверхие храмы, на двор Ярослава, возвышавшийся над строениями, на вечевую башню о четырех витых столбах, коей верх уподоблялся древней Княжеской шапке; на *Перынь*,^[22] обнесенную зубчатыми стенами, на златоглавый новый Софийский собор о тринадцати верхах.

На все смотрел Олег; но видел повсюду только рассеянные свои мысли.

Олег помнит себя отроком, у которого нет ни отца, ни матери, который живет в глухом лесу, в Божнице, под началом седого, грозного старика, одетого в широкую червленую одежду и покрывающего главу широкою белою попаломою.

Помнит он в Божнице, на высоком стояле, огромного истукана, которого называли Световичем; как у Януса было у него четыре лица; на восход обращено было красное, на север белое, на полдень зеленое, на запад желтое. В одной руке держал он лук и стрелы, в другой медный рог. В ногах у него лежали доспехи и вооружение. Подле стояло знамя войны.

Помнит Олег, что приходящим в храм воспрещалось дышать под казнью сожжения на костре за осквернение храма нечистым дыханием; и потому все поклонники идола, вбегая в храм и прикоснувшись устами к подножию истукана, торопились выйти, чтобы не быть жертвою его. Помнит Олег совершение обрядов, кои состояли в возжени огней в храме, в принятии от поклонников жертв: вина, еля, плодов, рыб, животных и всего, что подавалось идолу от чистого сердца. Помнит, как жрецы пели:

Свете, свете, свете, векожизный!
Укажи ны правду по закону,
Не розвай-се тучею по небу,
Не взмути ны струю сребропенну!
Не губи ны лютою угрозою,
Не сотри шеломы гор зеленых,
Не повеи на вежи огонь и смагу,
Не оstri на ны меча карайча!
Выповедай розмысл нам и правду,
Присени ны ризой златотканой,
Усыти на голод жирне-ествой,
Упой ны жажду млеком сладким,
Вечиною твоею нас управи,
Свет, свет, пламень правдовестный!

Помнит Олег, как приготовлялся заблаговременно пирог из *мусты*,^[23] величиною с малую келию; как жрец садился в него и, вынесенный Световидовыми *кметами*^[24] к богомольцам, вопрошал всех: "Видите ли мене?" — "Не видим", — отвечали поклонники. "В ново лето узрите!" Кто желал видеть жреца и не удостоился видеть, тот должен был класть в огромную медную чашу не менее *долгеи*,^[25] и потому мало было охотников наслаждаться лицезрением Световича, сидящего в пироге.

Помнит он, как по окончании обряда празднества жрецы сносили пожертвованную Световичу пищу и вино в подземельную свою палату, и там, пресытясь и упившись до беспамятства, проводили ночи в песнях и плясках с чужими жрецами, которых привозили на Световидовом белом коне из другого соседнего капища Диды.

Помнит он, что грозный жрец воспрещал ему не только разделять с ними ночные пиры, но даже и быть свидетелем. Это было для Олега хуже всего. Тошна ему стала и пища и жизнь. "Как, — думал он, — не только не

давать мне вина, но даже не позволять и взглянуть на жрецов Диды, которые хотя под покрывалом, но должны быть так же молоды, как и я, потому что ни у одного из них не заметно на бороде ни одного седого волоса!"

Таким образом, до юношеского возраста Олег рос как *трава блестящая*,^[26] в глубине развалин, где ни солнце ее не осветит, ни дождь не освежит; но когда Олег стал уже юношей, сердце его еще более вспыхнуло досадой, и он решился бежать.

За водою, окружавшею со всех сторон лес и капище, ему казалось, было более света.

В одно утро, когда солнце едва только осветило верхи высоких деревьев, окружавших Божницу; когда старый жрец еще покоился после ночных бдений в честь Световича, а два другие привязывали в стояле сватых *комоней*,^[27] взмыленных и испаренных, Олег прокрался вон из подземелья, пробежал чащу леса; перед ним открылась зеленая даль, но под стопами его утреннее солнце играло на зыбком лоне воды. Сердце его забилося, страх овладел душою, грозный голос седого жреца послышался ему. Он бросился в воду. Свет утра, зелень, люди исчезли из глаз; все померкло; холод обдал его; восклицание ужаса как будто потухло, подобно брызнувшей искре.

IV

После сего несколько лет жизни были темны для памяти Олега.
Новое существование, несвязное с прежним, казалось ему яснее.

Олег-юноша, красный собою, живет Стременным^[28] у Суздальского Воеводы Бориса Жидиславича. С ним идет он в землю Половецкую. В покоренной Веже Тунгу воины привели пред Воеводу чаровницу. Когда бросали ее в погреб, чтоб приготовить между тем костер, Олег заметил во взорах старухи мольбу; она хотела что-то сказать ему. Любопытство подстрекает юношу; он находит случай войти к ней в подземелье.

Старуха начинает ему говорить что-то на Половецком языке.

— Не вем, — отвечает Олег, рассматривая чаровницу, для которой попалома из битой черной шерсти служила вместо одежды ниже пояса, а остроконечная кожаная шапка вместо головного убора; седые длинные волосы были разбросаны по плечам и прикрывали наготу груди; обнаженные руки похожи были на выдавшиеся из земли корни засохшего дерева.

— Не ведаешь языка моего, я ведаю твой! — отвечала старуха. — Час мой приспел; но не умру я на костре. У тебя меч, у меня голова; снеси ее! Не алтын дам тебе, дам зелье Эмшан,^[29] кто не восхочет вершить волю твою, дай ему поухать зелия, и полюбит тебя и волю твою. Береги про день черный, послужит тебе, да на один подвиг, на одну часть.^[30] И другому послужит, да не давай ни другу, ни милостивцу, а отдай в наследие сыну, и будет роду твоему часть. Ну, уруби мою голову!

Олег взял у старухи что-то завернутое в кусок толстины,^[31] вынул меч свой, размахнулся — исполнил последнюю волю чаровницы, и вышел из погреба.

Не верю тому, чтоб люди были лучше в старину; но чувствую, что в нашем поколении нет уже того харалужного^[32] терпения, коим вооружались наши предки.

Кто в наше время отложил бы испытание Эмшайа до другого дня? Но Олег, владея сокровищем, похищенным; вероятно, из таинств Сивиллы, не знал, что с ним делать. Довольный судьбою, он не имел таких желаний, для исполнения коих нужна была сверхъестественная сила.

Зашив зелье в ладонку, он повесил ее на шею, и забыл про зелье.

Прошло восемь лет, в которые Суздаль был прославлен княжением

мудрого Андрея Георгиевича. Под его покровом были Киев и Новгород. Андрей мог быть обладателем всех Русских княжеств, но не искал соединения их, и судьба влекла Русь к бедственным векам междоусобий и унижения, изглаженных также веками.

В эти восемь лет Олег был свидетелем кровавой войны с Киевским князем Мстиславом Изяславичем. Андрей восстал на него, и соединенные полчища Переяславля, Смоленска, Вышгорода, Овруча, Дорогобужа, земли Северной и Суздаля, под предводительством Мстислава Андреевича, окружили Киев, побили слабых защитников его, подкрепленных союзом с Волынянами, Торками и Берендеями, взяли город, и Мстислав Киевский скрылся в Волынь.

Помнил Олег, как неистовства соединенной рати превзошли всю меру бесчеловечия над жителями покоренного Киева.

Сердце Олега облилось кровью.

Припомнил он и последнее восстание Андрея на Новгород. Судьба отмстила за Киев. Мстислав, испивший шлемом Днепра, не утолил жажды в Волхове.

Воины 72 князей, соратников его, пали под стенами Новгорода, а Олег Пута, Стременной суздальского воеводы Бориса Жидиславича, взят в плен.

— А за что? — вскричал вдруг Олег. — За то ли, что в Киеве хромоту старику я спас костыли? Что малому ребенку выручил два сосца его из рук воев? Что старой бабе отстоял припечку? Что мой меч урубил шею сопелку Половецкой чаровнице?

"Ау!" — раздалось близ Олега. Он вздрогнул.

Что-то зацелкало, зажгло около сердца, как будто; залетевший под одежду черный, рогатый жук. Олег схватил рукой, ощупал: это была ладонка.

Сорвал ее.

Слова песни: "Я люблю та голубицу, жемчужную душу" — повторились в памяти его. Сердце забило сильнее. Он припомнил слова чаровницы и раскрыл ладонку.

Зеленая травка, как будто только что сорванная, развернулась, запах коснулся обонянию. Олег громко чихнул.

— Во здравие! — раздался подле него приятный голос. Это была Свельда.

Пробегая мимо, она заметила Олега; разговоры с самим собою показались ей чудными; она остановилась и видела, как он раскрыл ладонку и вынул из оной листок. Любопытства девушки нельзя ни с чем сравнить.

— Что то, Суздальцу? — спросила она.

— Поухай, Свельда, люби Олега! — отвечал он и приблизил зеленый листок Эмшана к устам ее. Запах коснулся до чувств девы; взор ее быстро поднялся на Олега; она чихнула, румянец вспыхнул на щеках; она хотела что-то сердито сказать — не могла; хотела побежать — не могла.

— Полюби Олега, Свельда, будь ему женою!

Свельда опустила очи в землю и молчала.

— Изрони же слово злато, взлелей мою радость!

Свельда опять подняла очи.

Олег взял ее за руку.

Обнял.

Свельда как глыба пламени оторвалась от пожара и исчезла в кустах.

Олег глубоко вздохнул. Взор его остановился на том месте, где не стало видно Свельды.

Громкие приближающиеся ау подруг ее вывели Олега из забвения.

День потух.

Как провел Олег время от захождения до восхождения солнца, после подобных неожиданных происшествий? Спал он или нет? Это трудно решить в том веке, в котором в чувствах нет счастливой умеренности, в котором или *нет ничего*, или *через чур* губят взаимные радости и довольствие участью.

— Он не должен был спать, — скажут мне юноши и девы.

— Первый миг блаженства слишком полон, чтоб не волновать души и крови!..

— Слишком пламенен, чтоб не сжечь собою спокойствия!..

— Слишком сладок, чтоб забыть его для бесчувствия!..

Может быть.

В том климате, где воздух не может быть чистым без грома и молнии, нужны бури.

Но есть сердца, похожие на вечную весну Квито.

Улыбка их не есть дитя порывистых чувств; в них она есть постоянно голубое небо.

Питательная роса заменяет *ливень*.

Эта роса есть слезы умиления.

Бесчувствует ли сон? — Я не знаю.

Но мне памятно, как в счастливые минуты жизни сон носил меня по будущему блаженству и довременно лил в меня наслаждение.

Помню, как в скорбные минуты Жизни сон бросал меня с утесов, топил в море, давил мою грудь скалою, водил меня по развалинам и кладбищам и поил ядом.

Это помню я и не знаю, бесчувствие ли сон или невещественная жизнь, основанная на радостях и печалях сердца, на ясности и мраке души?

Впрочем, как не назвать Олега бесчувственным?

В течение нескольких мгновений, влюбленный и уверенный во взаимной любви, он спит, полагаясь на весь мир, как на каменное свое сердце.

Настало утро; первое светлое утро после пленения Олега Путы.

Он проснулся.

Выглянул весело в оконце; на золотом кресте Софийского собора, видного из-за домов, солнце уже играло. Перекрестился, начал день с богом, и пошел к хозяину поблагодарить за спокойную ночь; ибо добрый

Тысяцкий, полюбив Олега и узнав, что он был Стременным Суздальского Воеводы Бориса Жидиславича, обходился с ним ласково и уложил спать как гостя.

— Ну, радуйся со мною *праздному дню моему!* — сказал Тысяцкий, когда Олег вошел к нему. — По вечерам дочь моя, Свельда, размыкала девичью волю; наутро снимет крылья и наденет злато ожерелье.

Не кори меня, господине богу милый читатель, за то, что я не везде буду говорить с тобой языком наших прадедов.

И ты, цвете прекрасный читательница, дчь^[33] Леля, тресветлое солнце словотцюю! Взлелеял бы тебя словесы Бояновы, пустил бы вещи персты по живым струнам и начал бы старую повесть старыми словесы,^[34] да боюся, *уноест твое сердце жалобой на меня*, и ты пошлешь меня черным вранам на *уедие*.^[35]

В продолжение сих добрых повестей моих к читателю и читательнице Олег молчал. Тысяцкий Орай продолжал:

— Дело слажено, люди отслушают заутреню, придет красивый сын Частного Старосты^[36] Яний, покажу ему невесту, не откажется!

Олег молчал.

— Повидишь жениха Свельды, похвалишь!

Олег смотрел на тесовый резной потолок и молчал.

— Видел дочь мою Свельду? а? милость!

Олег опустил взоры на полицу, потом на оконце, потом в землю и молчал.

— Суждальцю?

Олег поднял взоры на Тысяцкого и молчал.

— Чему не вечаешь? не смиляешься радованию моему?

— Господине мой, помилуюся ли повести о сетовании и скорби моей! — произнес Олег печально.

— Желает нелюбия? — сказал сердито Тысяцкий.

— Желая веселия, — отвечал Олег. — Да не то замыслило сердце мое... Свельда...

— Ну! — громко произнес Орай и встал с места.

— Невеста моя!

Тысяцкий разгладил уже с досады бороду, опустил обе руки за шитый сухим златом кушак, что-то хотел говорить, но взглянул на Олега и захохотал.

Олег, протянув руку, подносил к носу Тысяцкого зеленый листок.

— Нет веры! поухай! — произнес Олег. Запах цветка коснулся

обнятия Тысяцкого. Он чихнул.

— Свельда моя? — спросил Олег.

— Правда! — отвечал Орай, запинаясь и смотря с удивлением на Олега.

— Свельда моя? — повторил Олег.

— Твоя! — отвечал Орай задумчиво, как будто припоминая странный сон, в котором он видел дочь свою Свельду, сосватанную за Яна, сына Частного Новгородского Старосты.

Олег обнял будущего своего тестя. Потом будущий тесть обнял нареченного своего зятя и повел его в *мовню*,^[37] из мовни в свою ризницу. "*Слюбное емли!*"^[38] — сказал ему и дал шитый сухим златом кожух и соболью шапку с золотою *ужицей*.^[39]

Когда Олег кончил свой наряд, Орай любо взглянул на него, обнял еще раз и сказал:

— Заутра *смильный* день!^[40]

И Олег еще раз обнял будущего тестя своего и поклонился ему в землю.

VI

Рассмотрев все летописи, простые в *харатейные*,^[41] все древние сказания и *ржавые Ядра Истории*,^[42] я не нашел в них ни слова о событии, которое предаю потомству.

Это упущение особенно должно лежать на душе Новгородского летописца.

Верно, какая-нибудь личность с кем-нибудь из рода Пута-Заревых!

Но оставим изыскания. Читатель не может сомневаться в справедливости преданий и слов моих.

Покуда Олег был в мовне и наряжался, жена Тысяцкого с дочерью возвращались из церкви. По обыкновению, они чинно сели в светлице и, в ожидании пришествия хозяина и завтрака, кушали сватый хлеб.

Вдруг дверь отворилась. Вошел Тысяцкий с гостем.

Этот гость был Олег; но его узнала только Свельда; и то не глазами; сердце сказало ей, что это он.

Тысяцкий, забывчивый и всегда потерянный в обстоятельствах, которые хотя немного отступали от вседневных его обычаев, не исполнил своей обязанности представить избранного зятя жене и милой дочери.

А Олег любил порядок.

Сняв шапочку, он помолился богу, поклонился всем молча, потом, отбросив темные кудри свои назад, подошел к будущей теще, преклонил колено, поцеловал ей руку; и потом то же самое сделал и с рукою Свельды.

Когда я скажу читателю, что в Древней Руси подобные вещи мог делать только нареченный жених, то всякий легко представит себе то ужасное положение, в котором была жена на Тысяцкого, женщина полная собою, полная хозяйка дому.

— Кто ты! Кого тебе, господине? Чего правишь?..

Она не успела еще кончить всего, что собралась высказать, как вдруг челядь прибежала сказать, что едет Частный Староста с сыном.

Большой поезд вершников проскакал мимо окон, по улице и остановился у крыльца. Тысяцкий и жена его бросились принимать гостей. Двери растворились настежь. Вошли. Сотворили молитву, поздоровались.

— Всеволод Всеволодович! Яний Всеволодович! — произнесла хозяйка, заходяв около гостей с поклонами и указывая им на первые места под образами, близ стола, на котором уже стоял круглый, огромный пирог.

Всеволод Всеволодович не долго заставил просить себя; а Яний

Всеволодович обратил свое внимание на незнакомого ему Олега, который не сводил глаз с Свельды, опустившей голубые свои очи в землю.

Вскоре и Частный Староста, отклонив свой слух от многоречивой хозяйки, посмотрел косо на гостя, роскошно одетого, который не только не отдал ему должного поклона в пояс, но даже не слушал речей его о порядке, им устроенном в *Гончарском конце*.

Он осмотрел Олега с ног до головы и обратно; сердито погладил бороду и обратился к Тысяцкому, который, по обыкновению, сложив руки *знаком дружбы*, сидел, молчал и всегда более думал, нежели слушал и говорил.

— Семьянин? Господине Тысяцкий! — спросил его Всеволод Всеволодович, показывая глазами на Олега. Тысяцкий смутился.

Олег понял вопрос и заметил, что тесть его молчал, не зная, как и что отвечать Частному Старосте.

— Семьянин! — отвечал он громко Всеволоду Всеволодовичу.

— Царь царем! — вскричала жена Тысяцкого, прикрыв пухлую щеку свою ладонью.

— Какого колена и племени? — продолжал Частный Староста, вставая. — Али родной брат Свельды, что вперил в нее очи?

— Нареченный, господине! — отвечал Олег.

— Как! — раздалось со всех сторон.

— Как! — повторил Частный Староста, приступив к Коле-Ораю.

— Как! — повторил Яний Всеволодович, приступив Олегу Путе.

— Спокойтесь, родные мои! Это полуумный! Кто, кроме Яния Всеволодовича, суженный Свельде! — возопила жена Тысяцкого, отвлекая то Частного Старосту, то сына его от мужа и от Олега. Ничто не помогало.

— Не колокольным языком мотают мою!..

— Нет, голова, здесь на твои плеча!.. — твердили отец и сын.

Тысяцкий не отвечал бы на слова Частного Старосты, если б у него был ум целого Веча. Ему казалось чудным, что Всеволод Всеволодович и Яний Всеволодович не верят словам Олега, что он суженый его дочери. Исполненный сими мыслями, Орай отступил от наступающего на него Частного Старосты, и между тем как он уже был приперт к стене, Олег, на слова Яния: "Не весть кто и отколе! Не выгонец ли какой земли!" — отвечал словом "Поухай!" и толчком в нос.

Зашипел Яний как разъяренный кречет.

Чихнул. И как будто пораженный светлою мыслью, он вдруг приложил палец к челу и громко вскрикнул:

— Правда! ты суженый Свельды!

— Как! — вскричал снова Частный Староста, обратившись к Олегу.

— Поухай, поверишь! — отвечал Суздалец, приблизив Эмшан к носу Всеволода Всеволодовича.

— Правда! — сказал и он, чихнув и обратись ко всем, как будто ожидая только привета. — Во здравие!

Между тем хозяйка дома успела уже выйти из себя:

— Вон, нечистая, демонская сила! — произнесла она грозно на Олега. — Выживу! — С этими словами схватила она из божницы Образ и бросилась на бедного Суздальца.

— Родная моя! — вскричала Свельда и очутилась между матерью и Олегом.

— И дочь за Бесермена!^[43] — возопила жена Тысяцкого.

Если б знал Олег, что дойдет до такого горя с будущей его тещей, ей бы первой дал он понюхать Эмшану. Как гибельна поздняя обдуманность!

Уже жена Тысяцкого оттолкнула дочь, занесла обе руки, вооруженная против нечистой силы, и двинулась на Олега, что было ему делать? Прикрыв левою ладонью, ненадежным щитом, широкий, белый лоб свой, на который падала уже сила исступленной женщины, он вытянул правую донельзя и — прикоснулся Эмшаном к носу будущей доброй тещи своей.

Какая торжественная минута для всего потомства Олега Путы!

Чудная трава действует!

Вот уже чихнула жена Тысяцкого. "Во здравие!" — отвечали все, еще раз чихнула. "И паки!" — отвечали ей все; в третий раз чихнула, и слово: "Правда!" — отозвалось в сердце Свельды.

— Господине суженый! дочь моя милая! Благослови вас господь!

Олег взял Свельду за руку; они стали на колена перед матерью, которая стояла уже с Образом мирно и радостно, приговариваясь благословить их и высказать обычные пожелания на жизнь ладную, супружную, на добро и на племя, на злато и радости — и все *на веки вешные*.

— Как величают по имени, по отчеству и по прозванью суженого дочери твоей? — спросил Всеволод Всеволодович у Тысяцкого.

— Не ведаю, — отвечал он.

— Как имя, отчество и прозвание? — повторил Частный Староста вопрос свой к Олегу.

— Олег Сбыславич Пута, — отвечал он.

— Величаем тебя, Олег Сбыславич Пута! — воскликнули все.

Олег в это время смотрел на свою Свельду. А Свельда смотрела на своего Олега. Им не были слышны громогласные поздравления. Какое

невнимание! Как будто слух их также обратился в глаза!

— Величаем тебя, Олег Сбыславич и с милой четою! — повторили все.

— Просим на сговор и свадьбу! — отвечал Олег, кланяясь и отцу, и матери, и Всеволоду Всеволодовичу, и Янию Всеволодовичу.

Но отец и мать приглашения на свой счет не приняли; а важный Частный Староста и сын его, по обыкновению, поклонились и сказали: "Не минуем быти!"

Таким образом вскоре совершилась и свадьба Олега и Свельды.

Не стану описывать венчальный день, а особенно те три дня, в которые длились посидельники, где Свельду, скрытую между толпами подруг ее, одетых так же, как она, и так же покрытых покрывалами, Олег должен был угадывать.

Как ни чутко сердце влюбленных, как ни пронизательны глаза их, как ни тонко обоняние, однако ж многие из красных девушек Новгородских, на зло его сердцу, сорвали с него поцелуи, принадлежащие одной Свельде.

К чему знать читателю, как хороша была Свельда, когда перед поездом в храм она сидела на черных соболях, когда ей расчесывали длинную русую косу, обмакивая гребень в заморское вино, и когда бросали на нее *осыпало*,^[44] и когда венчанную водили ее рука об руку с Олегом вокруг наоя, и когда укладывали ее спать на тучных ржаных снопах, и как она заснула, и как пробудилась.

Весь Новгород поднялся на ноги смотреть свадьбу Олегову. Кто не верил событию, что Новгородский Степенный Тысяцкий Кола-Орай отдал красную дочь свою за пленного Суздальца, тому Олег подносил вместо Фряжского вина Эмшан и говорил: "Поухай!" Чихнув, неверующий убеждался в истине и говорил: "Правда!"

Вероятно, с тех-то пор и вошло в обыкновение верить словам, которые подтверждаются чиханием.

VII

Почти так же громко раздался звон вечевого колокола в 1207 году, как и в 1471, когда Марфа Борецкая пиновала в чудном своем доме и вечевала о делах важнейших, а Владыка, Посадники, Тысяцкие, люди житые,^[45] купцы и со всем Великим Новым-городом, писали с ее сказаний к честному Королю Польскому крестную грамоту, прося ведать Новгород, не хотевший быть отчиной Московского Государя.

Итак, в 1207 Роду вечевой колокол загудел.

Со всех концов стеклись Новгородцы.

На поляне, против Двора Ярославова,^[46] толпы народа сгустились около каменного круглого стола, с которого обыкновенно Посадники и мужи старейшины изрекали волю Веча.

На нем уже стояли Послы, Бояре Всеволода Георгиевича, окруженные дружиной Владимирской.

Народ ожидал слов их.

Они молчали, ибо колокол Веча, огласив Новгороду трижды три удара, гудел еще и заглушал собою голос человеческий.

Посадник Новгородский Дмитрий Мирошкин был в отсуствии, во Владимире.

Ненавидимый всеми брат его Борис правил Вечем.

Колокол умолк.

Борис объявил, что Великий Князь Всеволод прислал указ и опалу Новгороду за восстание против сына его Константина и казнь велел взять по *долгее* с уха.

— Убедился Новгород от неправды! — вскричал старый Боярин Новгородский Олег Сбыславич, занимавший почетное место у стола. — Удели, Посадник Димитрий, с братьями, от своего золота милостыню Новгороду, тогда он будет платить неправедную виру!

— Смуту творишь, Олег Сбыславич! Пойдешь на суд княжий! — сказал грозно Борис.

— На суд княжий, да не на твой, тля Новгородская! — произнес гордо Олег Сбыславич, встал с места, хотел продолжать... но Борис обратился к Владимирцам.

Они поняли его знак и окружили Олега. Народ взволновался, зашумел.

— Не дадим Сбыславича, не дадим! он наш! — загрохотали тысячи голосов.

— Бей душегубца Бориса! Поднимай его!

Стража Владимирская обнажила мечи и окружила стол.

Народ ломится.

Борис видит свою гибель. Выхватывает меч из ножен, поражает им Олега и кричит к народу:.

— Возьмите Сбыславича! возьмите! Над ним совершен уже суд Всеволода и Константина! Он ваш!

Когда Новгородцы увидели кровь любимого своего Старшины, ужас и горесть потушили ожесточение, а слезы затмили очи. Никто не видел, как скрылись Послы и Борис Мироцкий.

Олега принесли в дом его. В нем уже гасла жизнь. Жена и дочь упали на него без памяти.

— Тому есть рад, оже вины моей нету, — сказал он; взглянул на свою добрую Свельду, взглянул на свою милую дочь; в померкших очах показались светлые слезы; из охладевшего тела выкатились горячие слезы!

Он пожелал говорить с своею дочерью. Всеслава осталась с ним.

— Всеслава! Вот уже несколько лет, как Тысяцкий Ивор Зарев любит тебя постоянно. Будь ему женою, Всеслава! Умиравший отец просит тебя!

— Хотела быть всю жизнь одинокою, — отвечала Всеслава, заливаясь слезами, — но воля твоя, родитель: буду женою Ивора.

— Благо тебе от бога! Позови ко мне Ивора.

Когда Ивор пришел, Олег отдал ему руку Всеславы. Давно он любил безнадежно холодную деву.

Неожиданность поразила его. Он схватил бы Олега Сбыславича с одра и сжал бы его в своих объятиях, если б не боялся отнять у всех несколько драгоценных минут жизни отца и друга.

Просто, положив голову свою на ладонь умирающего старца, он облил ее слезами, и Олег понял, что это благодарность.

— Твоя Всеслава, — сказал он слабым голосом, — но прежде сослужи службу Новгороду. — Идите, кроме Ивора, — продолжал он.

Все вышли. Но вскоре опять были призваны проститься с Олегом Сбыславичем навеки.

— Прощай, Всеслава! — сказал Ивор, удаляясь от печального зрелища. — Не имею времени проводить моего благодетеля и отца. Ему далеко, но жди меня скоро.

Не прошло одного часа, как Ивор Зарев скакал уже по улице верхом, одетый и вооруженный по-дорожному.

Между тем в Новгороде поднялся толк и мятеж.

Трудно было Ивору пробираться сквозь толпы народа. Приблизившись

к Неревскому концу, он ужаснулся злобы народной.

Дом Посадника Дмитрия Мирошкина в несколько мгновений разнесен был по бревну. Место, где стоял он, было выжжено и дымилось. Богатство и пожитки Дмитрия и братьев его несли к Вечу делить. Громкие проклятия изменнику Мирошке и Борису, убийце Олега Сбыславича, раздавались по улицам.

Избегая встреч и удаляясь от ужасного позорища неистовства, Ивор выбрался из Новгорода и поскакал по дороге Владимирской.

VIII

Оставив позади себя Великий Новгород со всеми его длинными концами, высоким Вечем, чудными палатами, многоверхими храмами, Двором Ярослава, струями Волхова, картинами Ильменя, Ивор *теребил* путь^[47] к отнему златому Престолу Всеволода Георгиевича.

На дороге между Новгородом и Владимиром, извилистой и неровной, как жизнь человеческая, с ним ничего особенного не случилось.

Ничего не встретил Ивор на пути: ни рати разбитой, ни войска неприятельского, ни ставки храбра и млада витязя, ищущего *себе* чести и *своей милой* славы; не с кем было Ивору померять сил своих, переломить копья и потручать саблю.

Ни в одном городе, чрез который проезжал он, не удалось ему видеть стен со струнами, чтоб испытать коня своего, перескочить чрез них, не задев ни за одну струну.

Иногда только встречал он на пути своем черные избушки на курьих ножках, но в них жила не Баба-Яга, а *отчинные* люди^[48] Князей и Бояр.

Надежный конь его ни разу не споткнулся; но, проехав Тверь и песчаный путь по правому берегу Волги, иноходь его сбилась на рысь, а рысь на мелкий скок. Однако же на десятый день, рано во утро, показались верхи церквей и зубчатых башен города Владимира. Ивор помолился мысленно и понудил коня своего идти живее. Княжеские палаты и златоверхий храм Успения осветились на возвышении холма, над крутым берегом плавной Клязьмы, и были ограждены высоким валом и крашенным дубовым тыном.

Новгородец Ивор привык везде иметь свободный доступ.

Он промчался стрелой чрез *Золотые ворога* и подскакал к воротам Двора Княжеского; хотел пронестись мимо двух воинов охранной Княжеской стражи, стоявших пред въездом, но они ему заградили дорогу копьями.

Ребры коня затрещали от крепких колен Ивора; конь вскинул передние копыта, двинулся порывистым скачком вперед, очутился на широком дворе Княжеском, а два храбрые витязя на земле. Покрытые с ног до головы воронеными бронями, в остроконечных шлемах и в кольчугах, лежали они на спине как черные жуки; но, горя мезтью и желанием приподняться на ноги, преследовать неизвестного дерзкого витязя, они тщетно двигали руками и ногами, гремели доспехами и кричали: "К бою!"

Червленые щиты, золоченые бердыши, булатные мечи, каленые стрелы были разбросаны вокруг них и лежали, как на поле битвы, отслужив службу и упившись кровавого вина.

Посвечивая своим золотым шлемом, Ивор подскочил к Княжескому крыльцу; но повторенное павшими воинами слово: "К бою!" вызвало отсюда дворовую челядь. Покуда поток сей стремился с гор, чтоб потопить собою Ивора, он успел уже привязать вороного своего коня к кольцу столба, подле крыльца Княжеского, пересчитал все дубовые ступени и очутился в GRIDНИЦЕ.

— Чего волишь? — спросил его удивленный Староста GRIDНЕЙ,^[49] когда Ивор, не обращая ни на кого внимания, раздвигал толпу GRIDНЕЙ и слуг Княжеских.

— Князя Всеволода! — отвечал он, не останавливаясь.

— Нет допуска без ведома! — сказал Староста и загородил собою дорогу.

— Поухай и пустишь! — вскричал не терпящий остановок Ивор.

Неосторожный удар сгоряча пришелся прямо в незащитный нос Старосты. Удар заключал в себе всю силу мышц руки Ивора, вооруженной чудной травой, и потому серебряный, с золотой нарезкой шишак выскочил с места и, не сохранив на затылке, равновесия, грохнулся на пол, вместе со старостою GRIDНЕЙ. Падая, чихнул он, а лежа уже на полу, произнес: "Правда!"

Кто после этого мог остановить Ивора?

Не буду описывать дальнейшего движения вперед Ивора по дворцу Княжескому, встречи его со Всеволодом, переговоров и действия Эмшана.

Скажу только, что следствием всего было то, что Князь Всеволод Георгиевич чихнул, произнес: "*Воистину так!*" — а Ивор, пожелав ему здравствовать, отправился обратно в Новгород с Послами Княжескими и с объявлением, что Великий Князь: "*еда Ноугороду волю всю, и уставы старых Князь, его же хотеху Ноугородцы*".

Приезд Ивора в Новгород был торжествен, как светлый день Воскресения.

IX

Ивор приехал прямо к Двору Ярослава и велел ударить в вечевой колокол. Частые удары повестили радость. Бегом стекался народ.

Когда объявил Ивор Новгородцам, что по завещанию Олега Сбыславича он сослужил им службу и привез от Великого Князя волю избрать себе Князя, они, в благодарность, провозгласили его Воеводою Дружин Новгородских и назначили праздновать честь и славу Новгорода.

Новгородцы хотели повеличаться пред бывшими у них в гостях купцами Любскими и Бременскими^[50] и в то же время помириться с ними за схваченных нескольких иностранных купцов во время мятежа за возвышение цен на товары и повешенных на воротах Гостиного двора.

Скучно всякое описание торжеств и празднеств; но я не решился выкинуть скучной страницы из книги преданий о роде Пута-Заревых.

С заустрия, Радуницею раздался голос вечевого колокола, а за ним звон по всем концам Новгородским.

Начиналось торжество.

Праздник рядит иногда и душу в роскошные узорочья, в жемчуг, в светлые камни, в шитый сухим золотом кожух,^[51] в соболи, и эта барыня, часто отжившая свою молодость и радость, еще хочет обратить на себя общие взгляды, еще жеманится, еще спесивится, еще воображает быть целью внимания и краснеет на старости лет от скромности.

Праздник пройдет, и опять надевает она старую, изношенную одежду свою. Эта одежда подбита привычками, выложена трудами, обшита горем, унижена слезами; но она впору ей, сидит на ней ловко!

Вот молодость уже расчесала кудри свои, зашумела паволокою, заскрыпела сафьяном; степенность и старость пригладили бороды, развернули силы, вострепнули кости; женщины богатство природное дополнили искусственным; старушки погрузились в глубокие сундуки, где лежали япончицы, повязки, узорочья, ширинки, как преданья дней бывших, как современницы давно прошедшей их молодости, но еще крепкие, не потерявшие цвета, не изношенные, заветные, сберегаемые для детей, внуков и правнуков, как памятник снов, виденных отжившими поколениями.

Должно сказать, что это был первый праздник, в котором все красные девушки Новгородские должны были участвовать; ибо Новгород хотел показать себя во всей красе, во всем величии.

В увечании сказано было: *быти торжеству велию и пиру на вси Ноугородские люди.*

Вот, согласно сему увечанию, собрались все на поляну к Святой Софии. А оттуда, *слышавшу молебие*, двинулся весь поезд следующим порядком ко Двору Ярославову.

Открывал шествие Владыка: за ним несли священнослужители хоругви, святые лики всех храмов Новгородских и несудимые грамоты монастырские.^[52]

Следовал потом *Стяг Владычен*, потом Частные Старосты пяти концов Новгородских и стража, вооруженная колонтарями и секирами, сотнями, *в цветном добром платье.*

Потом два Степенные Боярина несли грамоту, данную Новгородцам на права и преимущества их Ярославом I, и Русскую его Правду^[53] на двух оксамитных подушках.

За ними следовал Степенный Посадник, с Боярами, *Думцами*^[54] и начальными людьми,^[55] и потом Воевода с вершниками пятины *Древенской*,^[56] которые одеты были в красные кожухи, покрытые кольчугами, в остроконечных шлемах с кольчужными забралами и в стальных оплечьях, а вооружены саблями и стрелами, *на конех добрых, а конские наряды: чепи гремячия и поводныя и иные наряды большие.*

Вслед за ними везли устроенные на колесах торжественные кружалы — унизанные сайгатами Бесерменскими, коваными доспехами Немецких мечников, Шляхты Ляцкой и вообще неприятельским оружием, приобретенным на великих пошибаньях.

Поезд победный заключали вершники пятины Шеломенской — в синей одежде.

За ними шли Бояре и Шитые люди Новгородские в богатой, шитой золотом и серебром одежде.

Следовал потом новгородец *Оратай*: он нес мешок с пшеницею и бросал оную пред собою, как сеятель насущного хлеба и богатства.

За ним шли ряды жнецов, юноши в белых сорочках, в венках из тучных колосьев, вооруженные серпами. Они пели:

Слава *Миру* ти, *Миру* ти слава!
Мы посеем те ржи,
Да взростим до небес,
Да серпами пожнем,
Да увяжем в снопы,

Умолотим ее;
Да отведем зерно,
Да намелем муки,
Испечем тебе хлеб,
Пьяный мед наварим,
Да накормим тебя,
Да напоим им тебя.
Да уложим на сон!
А нишкни твой злодей!
Кто ж убудит тебя,
Кто посеет нам *лжу*.
Мы взрастим свою рать,
Да пожнем мы врагов,
И увяжем в снопы;
Размолотим мы их.
Да отведем врагам
Мы от тела злой дух;
Да на их-то костях
Мы кровавым вином
К ним нелюбье запьем!

Вслед за юношами жнецами везли колесницу, на которой стояла ветряная ручная мельница, хитрости Немецкого мастера Готлиба Стейнига; несколько детей хлопотали около нее: одни, представляя ветры, вертели крылья; другие, собирая лившуюся из-под жернова муку, обсыпали ею друг друга и скоморохов, одетых в пеструю одежду и вооруженных гусями, бубнами, трубами и желейками, Половецкими *цанами* и *кынгырчами*. Скоморохи несли на спинах своих бочонки, куфы с вином, с медом и брагой, припевали, подыгрывали песни жнецов и строили руками и ногами хитрости и узоры.

За ними следовали хлебники и пирожники; одни несли на носилках хлеб, величиной с главу Софийского Собора, и знаменье Новгорода, выпеченное из пряного теста; другие несли пирог, кулебяку с осетриной, длиною в семь ступней.

Везлось потом кружало, увешанное целыми шкурами соболей, черных лисиц, медведей, белых волков, куниц, горностаев, белок. В лобках вместо глаз вставлены были честные, разноцветные камни^[57] и животные сии смотрели как живые.

Другое кружало уставлено было златою и серебряною утварью, кнеями, лукнами, куфами, стопами, раковинами, обделанными в золото, конобами и проч.

Третье кружало украшено было тканями и разными художественными произведениями Новгорода, дела Русского.

За сими кружалами шли купцы Новгородские, торгоши и ремесленники, по степеням, рядами.

За ними шли толпы Новгородских дев, славящихся своею красотою, где только было известно имя Новгорода Великого; а Новгород славился и за морями, и у Немцев, и у Хинцев, и в землях Султанских, и в Индии далекой.

Только жемчужные повязки прикрывали волоса дев; только нитки бурмицких зерен извивались вокруг белой шеи; а золото, а честные каменья, а жуковины, все это светилось на узорочьях, на руках, на ногах.

Девы пели, перебивая голоса юношей, шедших впереди, и уступая по окончании своей песни опять право им запевать.

Уж как свилось гнездо, да у Мойской водны,
Уж как свилось гнездо соколиное,
А свивал-то его храбрый Славен Князь,
И прозвал он гнездо то Городищем.
Высоко, далеко взбивал сокол всех птиц,
И добыл сокольцам имя честное,
Только храбрым вечал огне имя носить;
Храбры все сокольцы, все един во един,
Величались они все Славенами;
Гнездо новое свили по Волхову,
И назвали гнездо Новым-градом они,
Уж как славится Новгород, славится
Хлебом-солью, да чудною храбростью.

Так пели девы.

Следовавшие за ними *житые люди* подтягивали песни в честь Новгорода.

Полк Новгородских ратников заключал торжественный ход.

Народ как поток стремился по Славенской улице.

Когда все приблизились к Ярославову Двору, колокол Веча раздался. Стол Веча и места вокруг него заняты уже были послами Всеволода и

гостями Новгородскими.

Когда на столы, поставленные на площади и покрытые цветными паволоками, положили хлеб и соль и весь поезд кончил обход и оградил собою площадь, Воевода Ивор прочел грамоту Всеволода.

Воззвание народа загремело.

Владыка благословил хлеб-соль и вино.

Пир начался.

Таким образом, читатели, вы видели, что до сего времени дела шли очень хорошо; должно было бы от умных начал рода Путы и Зарева ожидать и умных последствий; но в этом случае природа сделала отступление.

Вы заметили уже, что Всеслава, по неизвестным душевным наклонностям, не расположена была выходить замуж. Следствия противожеланий почти всегда неудачны.

Не хотя Всеслава вышла замуж за славного Воеводу Ивора; не хотя произошел Ива Иворович Пута-Заревич на белый свет.

Это много повредило всему телесному его составу и всем душевным способностям.

Мстислав Мстиславович Удатный, сын Мстислава Храброго, Князя милостивца и любимца Новгородского, как молодой орел, почувствовав силу духа, взлетел над Торопецким уделом своим; крылья его покрыли всю Русь.

В 1209 году, призванный с великой честью, приехал он в Новгород и явился на Дворе Ярослава.

В самый день приезда его Ивору, Воеводе Новгородскому, бог дал сына, об котором было уже сказано несколько слов.

Князь Мстислав любил Ивора за честь и прямую душу и пожелал быть крестным отцом его.

Исполнив обряд, он обнял ребенка и обещал, когда свершится Иве десять лет, взять его к себе и держать за родного сына, ибо у Князя Мстислава много было дочерей, но не было наследника, которому он мог бы передать свою великую душу и мужество.

Прошли десять лет, в которые Мстислав был необходим для Новгорода, как солнце для земного шара.

Любили его Новгородцы. "Где Князь остановит взоры, там мы положим свои головы", — говорили они ему.^[58]

Упрочив спокойствие великого народа, в 1218 году он простился с Святой Софией, с гробом отца своего и с Новгородцами и отправился светить на потемневший Юг России.

Он не забыл взять с собою десятилетнего Иву Иворовича, своего крестника.

Ива был уже чудным ребенком. Оспа и золотуха составили из головы

его изображение неровной поверхности земного шара, а из ног великую истину, что две кривые линии не могут быть параллельны друг к другу.

Голос его был так звонок, что часто заглушал собою вечевой колокол, и отец его опаздывал на Вече.

Почти от самой колыбели Ива не возлюбил противоречий. На брань, на увещания, на уговоры, на наказания он отвечал криком, от которого и отец, и мать, и пестун, и няня уходили как добрые люди от греха, когда загремит в них совесть.

Не знаю, есть ли изображение своенравного ребенка, когда он, как будто отмщая самому себе за бессилие, разрывает резким голосом всю внутренность и, наливаясь кровью, брызжет слезами и пеной.

Таков был крестник Мстислава. Отец не знал, что с ним делать, и рад, рад был, когда Мстислав, уезжая, прислал за своим крестником.

Расставаясь с сыном своим, Ивор отдал Князю на руки небольшой серебряный ковчежец и сказал ему: "Отнее благословение племени нашего в род и род, даси, Княже, сыну моему, еже свершится ему средовечие".

Всякий книгочей может видеть за страницах, описывающих жизнь Мстислава Мстиславича, что главною целью его помышлений и дел было: примирить Русские Княжества и соединить их под единую волю.

Мудрым правлением своим, победами, а следовательно и любящею душою, прославился он по целой России. Кончив дело на Севере, он отправился в Киев.

Верный и заслуженный его раб Юрга явился в дом Ивора за крестником Князя.

Богатая, крашенная и обитая кожей повозка остановилась перед крыльцом Воеводы Новгородского. На красной дуге колокольчик, знак Княжеской упряжи, звенел под острыми ушами вороного коня. Пристяжные, под масть ему, свернулись в кольцо и взрывали землю, покуда седой Юрга ожидал сборов Ивы Иворовича.

Никакая бы сила великая не выжила его из отеческого дома, если бы собственная же его *любовь кататься* не предала его вероломно в чужие руки. Всеслава надела на сына нарядный кожучек, подпоясала шелковым пояском, накрыла светлые как лен кудри красною шапочною и всунула в руки Иве медовую ковригу.

Исподлобья смотрел Ива на старого Юргу и молчал. Его занимали кони, которых ой Видел В окно, и колокольчик, привязанный к красной дуге.

Какой бы ни был сын, но любовь к нему йросит материнских слез при расставанье. Однако же Всеслава не смела Плакать. Ива наделал бы хлопот.

Наконец Ива мысленно благословлен отцом и матерью и посажен в крытую повозку.

Засмотревшись на коней, которые взвились и вомчались, Ива не обратил внимания на отца и мать, с которыми, может быть, не встретится уже под голубым небом.

Потери боится тот, кто испытал потерю.

Вот Новгород скрылся из глаз молодого ямщика, который, сидя на облучке, распевал унылую песню про разлуку с милой, про кручину сердца и часто оглядывался назад.

Когда высокое Вече, верхи церквей Новгородских, а наконец и Гостомыслов холм на Волотовом поле исчезли за густою рощею, чрез которую шла дорога берегом озера Ильменя, ямщик вздохнул, провел кнутом волшебный круг по Воздуху... Кони пустились быстрее, Юрга захрапел.

Ива, сидевший до сего времени в повозке смирно, вдруг вскрикнуул: дааа!

Юрга очнулся, ямщик оглянулся, Ива хватался за кнут и за вожжи.

Он привык во время катаний иногда сам править, погонять жирного коня и, замахиваясь на него, бить по голове и по лицу отца, мать, пестуна, няньку и всех, кто сопровождал маленького воеводу в загороде.

Но ни Юрга, ни ямщик не знали его привычек и, следовательно, не понимали его требований и слова: дааа!

Это слово, сопровождаемое неумолкающим криком, раздавалось по Лесу, чрез который они ехали.

Повозка крестника Княжеского догнала уже золоченый возок Мстислава, в котором он ехал с дочерьми своими: Мизиславою, женою Князя Ярослава, и юною Анною, сопровождаемый Новгородскими вершниками.

Юрга боялся, чтоб крик Ивы не дошел до слуха Княжеского. Он уговаривал его, грозил ему, но Ива не понял его языка, покуда догадливый ямщик не дал ему в руки бича.

Казалось, что бесконечная нить звонкого голоса Ивы вдруг оборвалась без малейшего отзвучия, когда рука Ивы прикоснулась к бичу.

Долго, сердито примеривался он, как лучше взять его и в которую руку, наконец обхватил обеими, взмахнул... пыль взвилась столбом... Тройка вороных была не из тех, которые привыкли, чтоб подстрекали их рвенью.

Повозка пронеслась стрелой мимо Княжеского поезда. Покуда ямщик успел стянуть и завернуть вожжи около рукавиц, кони промчались уже лес

и поле, слетели с горы, взнеслись на гору и, вскинув головы от затянутых лихим ямщиком вожжей, стали как вкопанные.

Ямщик оглянулся, Ива без памяти вцепился в кафтан его и висел, а Юрги — не было. Старик не усидел от толчка, огромный камень, лежавший на дороге, встряхнул повозку, выкинул его и уложил под горою.

Причиною падения Юрги был камень, лежавший на дороге, за что ж проклинал он Княжеского крестника?

— Уродье поганое! — говорил он, подходя к повозке и прихрамывая. — Самого бы тебя черным вранам на уедие! Восстонал бы тебя тугою!

— Ма! — возопил пришедший в себя Ива.

— Что прилучилось? — раздался женский голос из возка Княжеского, проезжавшего мимо.

— Не кони ли взыграли? — спросил Мстислав.

— Взыграли, — отвечал Юрга, зажав рот Иве. Князь проехал.

Строгость ли посторонних действительнее строгости отеческой, или Юрга умел заговаривать от криков, слез и воплей, только Ива умолк.

Иногда только, *про себя*, он еще горько всхлипывал, крупные слезы падали из глаз, как тяжелая роса с пестрых листков макового цветка. Иногда только тихий звук: "Маа!" — прерывался грозным: "Тс, кречет!"

Приехали на ночлег в Русу.

Мстислав остановился у Воеводы. Иву внесли также в светлицу, где хозяева, усадив дорогих гостей с честью, подносили им малинового меду и ягодников.

Если б кого-нибудь из нас перенести в гости к прапращур, не знаю, какая бы тоска одолела гостем.

Вообразите себе, что вы должны сидеть на месте как прикованные. Встаньте вы, и хозяин встает, и хозяйка встает, подбегают к вам, берут за белые руки и усаживают снова: "Да сидите, прошаем, сидите!"

Съесть в меру, выпить в меру невозможно. "Мерой, радушная, бог с ней! воля хозяина". Гость, как бездонный сосуд, принимает все, что кладут и льют в него.

Слава обычаям предков! слава их гостеприимству!

Едва только Юрга поставил Иву на пол и хотел подвести к Князю Мстиславу и к дочерям его, Ива вырвался из рук его с криком *маа*, бросился к Княжне Мизиславе и вцепился в ее япончицу.

Она вскрикнула, все испугались, увидев безобразного мальчика.

— Див, див! родной мой! — едва проговорила Мизислава.

— Не див, а крестник мой, — отвечал Мстислав, нисколько не смутясь

от безобразия Ивы.

"Великая душа часто скрывается под дурною оболочкою, как вкусное ядро под уродливой скорлупкою", — думал он и хотел отвести Иву от испуганной дочери, но тщетно. Руки и зубы Ивы закалились в япончице.

Догадались, сняли с Княжны япончицу, Юрга подхватил Иву и понес в другую половину дома.

Как храбрый воин, отняв хоругвь неприятельскую, но падая от ран и взятый в плен, не выпускает из окостеневших рук своих купленного кровью трофея, так Ива держит в руках своих япончицу Мизиславы.

Княжны не полюбили его, они просили отца своего не пугать их страшным мальчиком, и вот Ива отдан в полное попечение пестуну его Юрге.

Трудна была дорога до столицы Мономаховичей и для Юрги и для Ивы. Крестник Княжеский несколько раз умышлял избавить себя от попечений старика, несколько раз, во время дремоты его, он прыг из повозки, да и в лес, а заботливый пестун очнется, да за ним, за хохол, да и тянет из-под куста за ухо, да и ведет беглеца назад к повозке.

Таким образом, с растрепанными кудрями и с разгоревшимся ухом, Ива привезен в Киев.

XI

Прибыв в Киев, Русское солнце Мстислав собрал всех князей на Совет.
— Князи! — сказал он. — Вы призвали меня на суд и правду, призвали умирить вас с своевольным Галичем, Унгрею и Ляхами.

— И побить поганых Половцев, княже! — отвечали многие из Князей.

— Мир покупается или силой, или искренней дружбой, — сказал Мстислав.

— Не ведаем дружбы с Бессерменами и нехристями, — сказал Князь Черниговский.

— Соберите рати свои, — продолжал Князь Мстислав, — отнимем Русский Галич! Он стал областью Унгии!^[59] Там Латинцы, Католики насилуют Совет и хотят изгнать православную веру и покорить Русских Папе! Епископы и священники наши изгнаны, монастыри и церкви обращаются в костелы! Попустим ли насилие?

— Галич не братствует нам, что нам до него! — прервал речь Мстислава Ольгович.

— Сами Галичане откоснулись от Русской земли! — вскричали все прочие Князья.

— Знаете вы себя, Князи! а не Русь, — продолжал веледушный Мстислав, — дин спасу Галич!

— Ни! — вскричал Мстислав Немой, Князь Пересопницкий. — Не подниму руки за Галич!

Эти слова проговорила в нем желчь. Он еще помнил неудачную свою поездку *сидеть*^[60] в Галиче. Там злые Бояре приняли его с честью и посадили вместо золотого стола на *могилу Галичину* и потом сказали: "*Ступай с богом! Ты можешь теперь похвалиться, что сидел на Галичи!*"

Гнев Мстислава Немого был справедлив.

— Ни! — повторил он.

Но едва только поднял он одну руку, чтоб склонить набок Княжескую шапку, в подтверждение отрицания, а другую, чтоб разгладить черную свою бороду по горносталям одежды, вдруг раздался звонкий вопль, двери отворились, влетел Ива и... ужасное событие! повис на черной бороде Мстислава Немого.

Поздно явился вслед за Ивой пестун Юрга.

Важность Княжеского Совета рушилась громким, общим смехом.

Ива прирос к бороде.

Когда коршун вопьется когтями в шубу овцы, это ничего, но если бесчестная оплеуха, как летучая мышь, врежется в ланиту, то нет спасения.

Каким образом Ива был отделен от густой бороды Мстислава Немого, не сохранилось в памяти Истории; вероятно, и борода, как япончица Мизиславы, осталась у него в руках; известно только, что Мстислав Мстиславич повторил всем Князьям: *"Один спасу Галич!"*

А Мстислав Немой, удаляясь с Совета Мстислава Мстиславича, произнес на крыльце громко: *"Чтоб тебе пить синее вино с трудом смешано!"*^[61]

Для успокоения обиженной гордости своей он отправился к Тимофею, премудрому Киевскому книжнику, побеседовать с ним о судьбе своей, и спросил его:

— Каким образом получилось, что злобный Венедикт, Угорский правитель Галича, по выводу Тимофея Антихрист, вместо того чтоб триста лет царствовать по всей земле, брошен в тюрьму и умер в ней? Каким образом не сбылось предсказание, что он, Мстислав Немой, будет Князем Галицким, *аще приидет сести на Княжение?* И наконец почему не сбылось сказание Тимофея, что Князю Мстиславу Немому в Совете Князей будет честь и слава?

Премудрый книжник Тимофей отвечал ему:

— Далечи пути! да аз худый не безлепицю ти молвил. Зло время злу игу сыгра. Не сему ся подивуй, Княже, что суть людие? Слепые, хромые, глухие и трудоватые!

Мстислав Немой радостно взглянул на Тимофея, когда он всех людей назвал слепыми, хромыми, глухими и трудоватыми, ибо он сам немного был глух и заикался.

Тимофей продолжал:

— Падавшу тебе, разбился ли еси? Всекую печалуеши? Взыщешь славу и пожнешь, и руце своя умыеши в беде врагов своих, и посмеешься им.

Мстислав Немой удалился от Тимофея, вполне утешенный его словами.

А Мстислав Мстиславович между тем сдержал свое слово.

Он выехал из Киева не ратью, а своим семейством.

Прибыв в пригород Каменец, он оставил там дочерей своих, Княжну Мизиславу, или Марию, и юную Анну, а сам пустился в Галич, послав вперед гонца сказать: *"Идет в Галич Русский Князь Метислав Мстиславич спасти веру и народ от насилия чужеземного"*.

Неожиданное прибытие Мстислава возрадовало народ и возмутило

Галичан против власти Угорской. Слава его была порукою общей любви, его приняли с честью.

Ребенок Коломан, Король Галицкий, сын Угорского Короля, и малютка Саломея, Королева Галицкая, дочь Короля Польского, испуганные, бежали с вельможами и войском в Унгрию.

Сев на золотом престоле Галича, хитрый Мстислав занялся тайным приготовлением к ограде себя от Унгии и Ляхов. Но соединенных соседей он не надеялся покорить, ему нужен был каждый порознь, и потому Мстислав объявил себя другом Лешки Белого, Герцога Польского, а между тем отправил послов к Котяну, Хану Половецкому, приглашая его на союз и против Унгов, и против Ляхов.

Даниилу Романовичу, наследнику Княжения Галицкого, юноше храброму и прекрасному, Мстислав поручил собрать дружину.

Пылкий Даниил, не внимая словам и опытности воевод Мстиславовых Димитрия, Глеба и Мирослава, приставленных к нему для совета, неосторожными движениями обнаружил замыслы Мстислава.

Лешко Белый понял мысль его *разделить Унгию и Под-Ляхию*^[62] и *покорить порознь*, подтвердил союз с Королем Андреем против Мстислава и собрал свои силы.

Нетерпение Даниила сразиться с врагами Галича завело его далее.

Не ожидая помощи от Мстислава, который между тем собирал Русские дружины на Днепре, утверждал союз с Ханом Котяном и заключал мир с Литовцами, убедив их восстать на Польшу, Даниил двинулся навстречу шедшим к Галичу войскам Лешки.

Мстислав, кончив счастливо все договоры, с сильным войском приближался уже к реке Зубрье, вдруг известие о разбитии Даниила дошло до него и расстроило лучшие предположения.

Необыкновенная только храбрость Даниила предохранила войска его от совершенного поражения. Он остановил порыв соединенных против него Унгов и Ляхов и явился к Мстиславу с повинной головой.

— Неудача юноши есть урок ему верить старцам, — сказал Мстислав Даниилу, обнимая его. — Но я знаю теперь зятя своего: иди же снова в бой, я с тобою! Возьми коня моего Актаза в дар; его быстрота равна твоей храбрости!

XII

Между тем Угры заняли Галич; маленького Коломана и супругу его малютку Саломею опять посадили на стол Галицкий. Короля нарядили в панцирь, дали ему в распоряжение толпу *Пажолоков*,^[63] заняли его деревянного ратью; Королеву обложили игрушками; и дело пошло своим чередом.

Однако же Лешко Белый выступил со стороны Волыни с Ляхами; испытав Данииловой храбрости и зная, что власть Угров в Галиче по ненависти к ним народной не тверда, а Мстислав с великою Русскою силою, подкрепленную Половцами, идет вперед, — предложил переговоры; но их отвергли.

Нужно ли говорить или писать, что удар Мстислава решил участь новой битвы? Быстрым соколом явился он в Галич и взял Коломана, со всею его деревянного ратью, с Саломеею и с множеством Угорских вельмож, в плен.

Мстислав стоил имени Великого...

— Положим, что стоил, да что нам до этого? Где Кощей бессмертный? Где Ива?

Все, любезные читатели, было, есть и будет в своем времени и в своем месте!

Словом своим вы не поторопите ни своеобычное солнце, ни своевольную судьбу, ни своенравные персты Бонна,^[64] *иже воскладаше на живые струны, еще кому хотяше песнь творити.*

Итак... Мстислав стоил имени Великого до несчастной битвы при Калке, где Провидение, кажется, отклонило взоры свои от земли Русской, а счастье изменило миротворцу Русских Княжеств.

Незнаемые премудрыми мужами, неведомые разумеющими книги, един бог весть, кто такие, какого племени и веры, Татара, Таурмени или Печенеги, появились со стороны Волги, Дона и Хволынского моря, побили Ясов, Косогов, Обезов и безбожных Половцев и взволновали страхом Русскую землю.

На общем Совете всех Князей положено было взяться за оружие.

Воины всех Князей, кроме Велико-Княжеских и Новгородских, встали под хоругвь Мстислава, подкрепляемого тестем его, Половецким Ханом Котяном.

Ополчение двинулось к Днепру.

Татарские послы (миролюбиво) явились в стан Русский, но их лишили жизни! Отвергнутая и обогрелая кровью ветвь мира обратилась в чудовище, которое налегло на Русскую землю и стеснило свободное дыхание ее на несколько веков!

Первая удача породила презрение к неприятелю; несогласие соединенных ополчений разрушило единство силы к восстанию на возрождающиеся полчища Монголов, и черный день, Мая 31 дня 1224 года, настал.^[65]

Умолк Мстислав и пожелал могилы; не хотел он управлять Галицким княжеством и отдал его зятю своему, Угорскому Королевичу Андрею, ибо народ не любил Даниила, сына *Романа Галицкого*. Мстислав и отправился в Понизовскую землю, в город Каменец.

Положение этого города на пространной высокой скале, окруженной в виде острова струями Смотрвга, ему нравилось.

Тут, утомясь от трудов жизни и желая привести все земные дела свои к отчету вечному и расплатиться с долгами, Мстислав вспомнил о крестнике своем.

Призвав к себе Юргу, едва только произнес он имя Ивы, седой пестун повалился в ноги Князю и просил пощады и помилования.

С трудом добился Мстислав от старика, что уже около восьми лет, как Ива Иворович вдруг, неизвестно куда, скрылся.

— Дорого заплатишься ты за голову крестного моего сына, если я не найду ее! — грозно сказал Мстислав Юрге и послал по всем путям и дорогам, во все концы и во все стороны гонцов с повещанием: искать Княжеского крестника Иву Иворовича Путу-Зарева, ему же от роду лет двадцать, волосом бел, очима серы, образ рябый, росту мала, чермная Ягодина на челе, другая большая у левого ока. И кто укажет его или приведет к Князю Мстиславичу, тому дастся во владение деревня Княжеская и златых гривен десять.^[66]

Читатель ясно теперь видит, что не только я, но и никто из нас не знает, где Ива. И потому, если на чье-нибудь счастье, по Княжескому объявлению, он отыщется, тем лучше; тогда я буду продолжать древнее сказание.

Но что ж будем мы делать, любезные читатели, до тех пор, покуда не отыщется герой наш? Чем наполню я время неизвестности о судьбе его? Где найду я для вас рассеяние? Если б я был Шахеразада, начал бы бесконечную сказку, продолжалась бы она не несколько дней и ночей, не несколько недель, не несколько месяцев, не несколько лет, но продолжалась

бы до той самой минуты, в которую какой-нибудь добрый человек сказал бы мне, хоть за тайну, куда скрылся сын Ивора, Новгородского Воеводы, крестник Князя Мстислава Мстиславича.

Но не думайте же, читатели, чтоб я поступил с вами, как проводник, который, показывая войску дорогу чрез скрытые пути гор и лесов, сбился сам с дороги и со страха бежал. Нет, не бойтесь, читатели! Клубок, который мне дала Баба-Яга, катится передо мною. Он приведет нас к Иве Иворовичу. Вот вам рука моя. Пусть каждое перо, которое я возьму в руки, прирастет снова к крылу гуся, из которого вырвано, если это неправда.

XIII

В селе Заборовье, во дворе Боярина Любы, столпилась челядь и смерды. На крыльце стоял сам Боярин, стояла и жена его, стояла и дочь их.

Все они стояли и смотрели, как *день бяще паче ночи, и бяше столпови червлении, зелении, синий, обаполы солнца.*^[67]

Вы можете теперь представить себе в каком положении стояли Боярин, жена его, дочь челядь и смерды.

Как тени были они от страха; *ибо день бяше паче ночи:*

Этого мало. От ужасной темноты нельзя было вдруг заметить, что за Боярином были еще люди.

Один, бритый, *в тубетае,*^[68] в полосатой шелковой *ортме*^[69], с *тамбурую*^[70] в руках; другой, малорослый, безобразный, дворовый дурень.

Последний не обращал внимания на *столпове обаполы солнца*, а возился с огромным псом, по прозванию *черный Жук*.

Когда знамение на небе кончилось, солнце пришло в обыкновенное свое положение, а Боярин, жена его, дочь их, челядь и смерды пришли в себя, вдруг раздались звуки звонкой тамбуры и звонкий голос Татарской песни: *Сэн бинь экши!..*

Бритый человек, в тубетае и ортме, был Татарин Кара-юли, большой руки *гюрлай*^[71] и рассказчик. В последнюю войну с Бату-Ханом, плененный Русскими, он полюбил Русскую землю и остался жить у Боярина Родислава Глебовича Любы, который любил окружать себя смысленным и забавным народом. Всем полюбился Кара-юли, только не полюбился *божливой* Боярыне;

— Не будет нам добра от поганого Бесермена; недаром солнце уподобилось месяцу и пошло вспять от полудня! Не будет добра, Родислав Глебович! Нажил ты себе окаянного в любовные приятели! Люди отчаялись в животе своем, а он поет песни нечестивые! Облечешь ты всю Русь божиим гневом, Родислав Глебович, за грехи свои! — говорила жена Боярина Любы.

Родислав Глебович задумался было; но так как солнце загорелось светлее прежнего, то и он сбросил с себя страх, забыл затмение и предвещание жены и, сопровождаемый в светлую *комару*^[72] свою семейством и потешниками, уселся на лавке, покрытой попаломою, и стал говорить следующее:

— Ну, Татара! садись на пол, сверни под себя ноги и играй на тамбуре.

Кара-юли не заставил себя долго просить: в одно мгновение сел он на полу Монгольским идолом и ударил уже указательным пальцем правой руки по трем бараньим жилам, обращенным в звонкие струны тамбуры...

— Стой, Татара! — вскричал Боярин Люба, ибо он не кончил еще всех своих распоряжений. — Ты, рябая зегзица! — сказал он уродливому существу, одетому в красную камку, в красной шапке и в красных чеботах, — ты садись с Жуком у меня в ногах, да молчать! а не то Жук потянет за ухо!

Татарин опять приударил в струны.

— Стой, Татара! Глебовна, садись подле меня.

Юная Глебовна повиновалась отцу и стала продолжать свою работу. Она вышивала золотом и *дробницами*^[73] платци *оксамитные*.^[74]

Кара-юли еще раз кашлянул, сжал уже левой рукою струны на ладах тамбуры, выправил указательный палец правой руки и согнул большой, средний, безымянный и мизинец, но Боярин Люба еще раз остановил его.

— Стой, Татара! не хочу слушать песню, ты хотел рассказать, как Русские и Татары произошли от одного племени. Брешешь, степная лисица! да так тому и быть, послушаю.

— Есть так, так, бачка! — отвечал Татарин, положив подле себя на пол тамбуру.

— Слушай! так пить в великий Ганжур: Аллах хоца, творил Бир-Адам, аркучь к Забраил: неси ковалка^[75] земля! Приди Забраил на земля, берут ковалка от земля. "Ние! — плакаху зе мля. — Чему тебе ковалка от земля?" — "Аллах творил Бир-Адам, аркучь Забраил". — "Не бирай от мене, аркучь зе мля, Аллах творил Бир-Адам, Бир-Адам творил сына, девойка, многа; сына и девойка творил поган грех, Аллах послай гром, гроза, огня! возмутай вода на моря и сломай вся земля! а чему моя вина?" Забраил послухай земля, не бирал ковалка от земля, не несла на Аллах. Аллах повели на Мохайл: принесе ковалка земля. И Мохайл послуха земля и не несла на Аллах ковалка от земля. Аллах повели на Азрафиль. Азрафиль не послухай земля, берил ковалка от земля, аркучь: брешит земля! и несла ковалка от земля на Аллах. Аллах берут ковалка земля, твори Бир-Адам и постави его на земля, а Эдем, средина на Мэхка и града Туюфь. А Мэхка там иде-же Азрафиль берил от земля ковалка...

Не знаю, какое нечеловеческое терпение было у Боярина Любы слушать вздор, который рассказывал Татарин, однако же он слушал.

Из сожаления к читателям я заставлю молчать Татарина и передам в

коротких словах рассказ Кара-юли.

"Бир-Адам жил 1000 лет, — продолжал он, — настоящее ему имя *Сафи-юла*. Он оставил по себе 40 000 потомков, а наследником власти *Шиса*, по-Арабски *Е-зба-зулу*. По смерти *Шиса* душа его перенесена Азрафилом в *Араи*. После него следовали патриархи *Анус*, *Хэнан*, *Мелакхил*, *Бердэ*, *Ахнух*, *Матузлах*, *Замэх* и потом *Нуи*.

При Нуи люди отклонились от правды, и Аллах в наказание послал на землю потоп, но сохранил праведного Нуи с его семейством и восьмьюдесятью правоверными.

По окончании потопа ковчег, построенный Нуи на горе *Дзуди*, между городами *Мюзель* и *Шам* и плывший с первого дня луны *Редзеба* по 10-и день *Махарэма*, то есть шесть месяцев и десять дней, остановился.

От Нуи произошли: *Хам*, *Зам* и *Яфис*. Яфис поселился у реки *Атэль* и *Яика* и, прожив 250 лет, оставил восемь сынов: *Тюрк*, *Харз*, *Закиэб*, *Русь*, *Менанэк*, *Цвин*, *Камари*, *Татаришь*...

— *Русь*, *Татаришь*! — повторил Кара-юли торжественно, когда кончил родословную земного шара, почерпнутую, вероятно, из прозрачного источника Христианских преданий, но смешанную с нечистым кумысом Монгольских грубых понятий.

Родислав Глебович захохотал над родственным происхождением Русских и Татар, которым его забавлял Кара-юли, но жена Боярина не вынесла такого унижения.

— Радостно огню, что добивается ему вода в родню! — произнесла она громко. — Смейся! — продолжала она, уходя из светлицы в свою камару. — Залетела одна тльковина,^[76] прилетит и стадо!

Как вещунья произнесла она эти слова, и никто не отвечал ей: "Чтоб тебе типун на язык!"

— Ни, Татар! не слюбна мне твоя повесть о Бир-Адаме, расскажи другую, былинку сего времени!

Татарин поправил *тубетай* и начал.

XIV

Гюльбухара

Татарская быль XIII столетия

Есть один Аллах, и не был другой Аллах, и нет другой Аллах, не будет другой Аллах; создал Аллах семь небес, семь земель и семь раз семью семь по семь семериц разна зверя, птица, рыба, велика, мала...

— Тс! — вскричал Ростислав Глебович.

— Хэ! господин бачка! я не сказка буду говорил, а всякой былина, начинаесе по нашему богом, — отвечал Татарин своим наречием.

— Ну! — возгласил Боярин.

— Я, господин бачка, родом из Орды *Урги*, далеко, далеко отсюда *Урга*, в Монгольской стороне, на светлой *Толе*. Был я в светлом Сарая Хана *Мынгэ Турганом*^[77] при главных Золотых воротах. Мынгэ-Хан умер, Орду наследовал сын его Харазаяли-Хан. Мне наскучило быть Турганом, я оставил Золотые ворота и жил у молодого Мирзы Эмина, сына первого Ханского Мирзы Хамида.

— Давай сюда всех *Ханым* отца моего! — сказал Харазанли Сарай-Ага на другой же день после смерти отца.

Цветы Харэма Мынгэ-Хана явились перед ним.

Ни один не понравился.

— *Хамид!* — сказал Хан первому своему Мирзе. — В Харэме нет для меня Хадыни. Хочу иметь женщину, которая нравилась бы мне, как узнику луч светлого солнца, промелькнувший в темницу, как роскошный отдых усталому страннику, как жаждущему Измаилу показанный Ангелом родник среди песков Фарана.

— Прикажи, великий Харазанли, собрать всех красивых дев Орды своей и всех привезенных невольниц и выбери из них себе полный Харэм: семь Хадынь, триста жен и пятьсот невольниц.

— Этого много, это долго! — отвечал Харазанли. — Мне нужна одна. Много светлых звезд среди ночи, а ночь темна; одно только солнце во время дня, а день ясен. Мне нужно солнце!

— Долго Хан будет искать это солнце; оно, может быть, за горами, за морями.

— Не буду я искать того за горами, что под рукой. У тебя, Хамид, я слышал, есть дочь; мне про нее говорят; говорят, что нет другой под небом;

я хочу видеть ее!

Слова Харазанли поразили Хамида; он затрепетал от мысли, что его любимая, единственная дочь, *Мыслимя*, будет невольницею какой-нибудь Хадыни, если не понравится Хану или он разлюбит ее. Но Хамид не смел показать неудовольствия своего, он приложил руку к сердцу, потом к челу и вышел.

— Эмин! — сказал он сыну своему, который заметил черную печаль на лице отца своего. — Хан желает иметь сестру твою, *Мыслимя*, Хадынею. Не потому тяжела мне эта воля Хана, что Орда не любит видеть дочь первого Мирзы Хадынею Хана, но потому, что я люблю дочь свою и не хочу никому отдавать ее при жизни своей.

— Баба Хамид! — сказал Эмин отцу своему. — Есть у меня колпак, да не знаю, будет ли он тебе по голове.

— Говори! — отвечал нетерпеливо Хамид.

— Слушай: купи невольницу дорого, на вес золота. Хан не знает моей сестры; приведи невольницу вместо сестры.

Хамид рад был доброму совету сына и обнял его.

Призвали купца, торговавшего невольницами. Многих пересмотрели Хамид и Эмин; ни одна не подходила красотой к *Мыслимя*.

— Есть у меня невольница, — сказал наконец купец, — да не смею продать тебе светлый камень, которому место только на чалме Ханской.

— Продай мне этот светлый камень; что запросишь, вдвое заплачу! — сказал Хамид.

— Хорошо, за десять *Эйгэров*^[80] из твоего табуна на выбор и за тридцать верблюдов отдам тебе *Гюльбухару*, да на придачу сто баранов, пятьдесят шкур лисьих и десять кусков Индийской золотой ткани.

Хамид согласился.

— Идите же смотреть невольницу ко мне в дом. Понравится, дайте мне десять *Эйгэров*, тридцать верблюдов, сто баранов, пятьдесят шкур лисьих, десять кусков Индийской золотой ткани; возьмите ее тайно и не забудьте, что меня зовут *Каф-Идыль*!

Когда смерклось, Хамид с сыном пошли к купцу.

Затрепетал Эмин, когда вошли они в калитку дома, перед которым только за день, проходя мимо и заметив сквозь деревянную решетку женское лицо, он остановился и поклялся овладеть чудною красавицею, которая так печально и ласково на него смотрела и как будто умоляла спасти ее.

Когда они вошли в дом, купец уже ожидал их; невольница стояла под покрывалом.

— Подними покрывало свое, Гюльбухара! — сказал ей Каф-Идыль.

— Она моя! — вскричал Хамид и хлопнул Каф-Идыля по руке в знак заключения торга.

Вспыхнул Эмин, когда увидел знакомое уже ему лицо Гюльбухары; едва удержался он, чтоб не вскрикнуть: "Нет, она моя!"

Когда робкий взор невольницы встретился со взором Эмина, очи ее опустились... и покрывало также. Эмин слышал глубокий вздох.

"Любит она меня! Она должна быть моею!" — думал Эмин.

Взяв с собою Гюльбухару, Хамид пробирался к дому; мысли его были исполнены то жалостью к стадам и табунам своим, то жалостью к дочери.

Эмин следовал за ним и не знал, о чем думать; все противоречило его желанию и надеждам.

Моя звезда светлая, моя!

Сорву ее с неба я, сорву! -

пропел он печальным голосом, входя вслед за отцом и Гюльбухарой в калитку своего дома и сжав крепко ее руку.

Покуда Хамид был в Харэме своей дочери, где Гюльбухара надевала роскошный *карсит*,^[81] из Дамасской материи, шитый золотом, бархатный *колпак*, осыпанный жемчугом, *такью* и *тушлык*,^[82] унизанные Юнанскими златницами, и *блязык*,^[83] кованный из золота и осыпанный драгоценными камнями, Эмин торопливо ищет в голове своей средств овладеть Гюльбухарой и не находит ни одного.

"Еще несколько раз вздохну я, — думает он, — и она уже будет в Харэме Хана! Оттуда нет ей исхода, как из могилы! Просить отца уступить мне невольницу? Хамид не согласится пожертвовать дочерью для прихоти сына. Насильно вырвать счастье свое из рук его?.. Эмин не решится: он любит Бабу Хамида!"

Как раненный ядовитую стрелою падает Эмин без сил на землю.

Слышит тяжелые шаги отца своего и за ним шорох шелковой ткани, слышит слова: "Помни, что отныне ты не Гюльбухара, а Мыслимя, дочь первого Мирзы, Хадыня Харазанли Хана! Этого хочет Аллах!.. Но он запирает уста твои молчанием!"

Эмин слышит глубокий вздох и не может отвечать на него вздохом.

Нетерпеливо ждет Харазанли Хамида.

Он является перед ним.

— Долго ждал я тебя; долго снаряжал ты дочь свою; не украшения мне нужны! где она?

— Люби дочь мою Мыслимя, великий Хан; не полюбишь, отдай мне

ее назад; она была утешением моей старости.

Харазанли не внимал словам Мирзы; его занимала дочь его; он подал ей знак приблизиться к софе своей и сбросить покрывало.

Когда Харазанли взглянул на Гюльбухару, глаза его наполнились огнем.

— Иди с Аллахом и Пророком его, — сказал он Хамиду.

Хамид повиновался.

— Мыслямя! — продолжал Харазанли. — В глазах твоих блестят слезы!.. Солнце, которого я искал!., печаль затмила свет твой!

Слезы брызнули из очей Гюльбухары.

— Скажи мне причину горя твоего! Я не прикоснусь к тебе дыханием до тех пор, покуда не увижу рассвета на лице твоём! Мыслимя, говори истину, я исполню желание твое! Если ты боишься равной себе в Харэме... не бойся! тебе нет в нем равных!.. Все будут рабынями твоими; я сам покорюсь тебе! Требуй от меня всего!

— Одного только прошу у тебя, Хан: прости одного виновного пред тобою, моего благодетеля! — произнесла Гюльбухара, упав на колена перед Ханом.

— Кто сделал тебе добро, тому все прощаю! Поручкою слов моих твои светлые слезы! Но кто, кроме Мирзы Хамида, мог иметь влияние на дочь его? — произнес Хан голосом, который изменял рождающемуся в нем подозрению.

— Мирза Хамид, — отвечала Гюльбухара.

— Отец твой?

— Не отец, а благодетель мой. Он дал мне средство повергнуться перед великим Ханом и просить защитить отца и мать мою от злобы Мирзы Мазар-Ульмука!

— Хамид не отец твой? — вскричал Харазанли, затрепетав от гнева.

— Ты дал слово простить Хамида, — едва произнесла уstraшенная Гюльбухара и припала к полу Ханского облитого золотом джилена.^[84]

— Дал слово и не отступлю от него. Но Хамид не исполнил воли моей, я сам ее исполню!

На удар саблей по полу явился Сарай-Ага.

— Призвать ко мне Мирзу Хамида, — сказал ему Хан, — и, когда он будет здесь, ты пойдешь в его дом. У него есть дочь Мыслимя, именем моим возьмешь ее и приведешь ко мне под покрывалом.

Сарай-Ага удалился исполнять волю Хана. Харазанли обратился к Гюльбухаре.

— Кто ты такая? Кто твой отец?

— Зовут меня Гюльбухара. Я дочь торговца Мусабэ из Ак-Орды, города Криминды. Правитель города Мирза Мазар-Ульмук полюбил мать мою. Отец не уступил ему ее. Мирза нашел случай обвинить отца моего. Чауши^[85] пришли в дом наш и, несмотря на слезы и мольбы, разлучили нас. Не знаю, что сделали они с отцом и с матерью моею!.. Меня продали в неволю Загатайскому купцу!..

Гюльбухара не могла продолжать, залилась слезами

— Продолжай, Гюльбухара, — сказал нежно Харазанли, взяв ее за руку, — продолжай, я все для тебя сделаю, светлая дева!

— Загатайский купец привез меня в Угру... чрез несколько дней... — Гюльбухара опять остановилась, опять слезы покатались из глаз, вздох вылетел из груди, лицо оделось румянцем...

Харазанли смотрел на нее и молчал: так хороша была она в этом положении. Он не смел утешать ее ласками, не хотел принудить забыть горе и продолжать рассказ, давал ей волю управлять и чувствами своими, и словами.

— Меня купил Мирза Хамид, — наконец произнесла она отрывисто. — Не знаю цели, с которою он представил меня к тебе, великий Хан, и назвал своею дочерью... Я недостойна была бы дышать тем воздухом, которым Аллах наполнил мир для человека, если б решилась воспользоваться чужим именем и чужими правами на счастье принадлежать великому Хану...

— Гюльбухара! — прервал ее Хан, положив руку на ее плечо и смотря пламенно на потупленные очи девы.

Более ничего не сказал Харазанли, а Гюльбухара продолжала:

— Могла ли я забыть отца и мать и отказаться от них, приняв на себя имя прекрасной Мыслимя?..

В это время вошел Чауш и повестил Хамида.

— Пусть войдет. Гюльбухара! набрось покрывало твое и молчи.

Хамид вошел.

— Благодарю тебя, Мирза! — сказал ему Харазанли. — Ты услужил твоему Хану, и он будет уметь быть благодарным. Ничего лучше твоей дочери не видал я, ничего лучше не желал!.. Она будет моей Хадыней!.. Для нее хочу избрать я и достойную невольницу! Где Сарай-Ага... Исполнил ли он мою волю?

Сарай-Ага вошел с женщиною, покрытою покрывалом.

— Мыслимя! вот твоя Джари.^[86] Сними с нее покрывало! Хамид, смотри сам, достойную ли рабыню избрал я для Хадыни моей?

Сарай-Ага исполнил волю Хана, сдернул покрывало с приведенной им женщины.

Хамид затрепетал, взглянув в лицо Джари. Глухое восклицание раздалось из уст Гюльбухары.

— Нравится ли тебе, Хамид, Джари твоей дочери? — продолжал, злобно улыбаясь, Харазанли. — С этой минуты мы как кровные будем жить под одной крышею! Отведите его в каланчу^[87] Сарая!

Хамида почти бесчувственного вывели.

— А ты, звезда моя, — продолжал Хан, обращаясь к Гюльбухаре, — иди в назначенный тебе Харэм, возьми и свою Джари, будь ей повелительницей.

Гюльбухара встала с софы, наклонила голову свою пред Ханом; снежная рука ее прикоснулась к покрытому челу, и она пошла в глубину покоев. Назначенная для ее услуг невольница последовала за ней.

Старая Ага и Две *Усты* встретили ее и проводили в богатый отдел Харэма. В хрустальных стенах отражался светильник, стоявший посредине на кованом серебряном подножии; по углам кипели каскады; капли воды также светились как искры; резной из слоновой кости потолок усеян был продушинами, сквозь которые дымился проведенный из другого покоя аромат. Из Харэма был выход под навес, осененный слезистыми ивами, которые росли на высокой скале, над светлою Толою; на этой скале построен был весь Сарай Хана. Как волшебное здание висел он над рекою, имея подножием неприступный утес, подмываемый Толою.

Вечер давно уже настал; полная луна неслась по чистому небу и сыпала лучи свои на мраморный пол сквозь отворенные двери.

— Вот обитель Хадыни, — сказала старая Ага Харэма. — *Араи* не лучше ее, отсюда видна вся Орда-Урга, с золотыми капищами и высокими мечетями; там, влево, под луною, высокая гора Хан-Олу, с ее священными дებрями; на восток луга и опять горы, в глубине *черной долины* есть красная гора; там есть пропасть, где скрыты несметные сокровища Огус-Хана. Никто не смеет приблизиться туда; дух-хранитель всех пожирает и унижает костями человеческими вход в пропасть...

— Ступай, — сказала Гюльбухара старой Аге, не дав ей кончить рассказа. — Я одна останусь с моей невольницей.

Когда старая Ага вышла, Джари бросилась к ногам Гюльбухары.

— Эмин! Я узнала тебя! Зачем ты погубил себя и меня! Что хочешь ты делать? Зачем явился ты здесь в одежде сестры своей?

— Увидеть тебя еще раз и умереть! Гюльбухара! Скажи: моя ли ты по сердцу, по воле твоей?

— Твоя! твоя звезда, Эмин, но не сорвать тебе ее с неба!

— Воля Аллаха! но я с тобой! Как было мне не воспользоваться случаем взглянуть на тебя? Когда отец мой пошел в Эи-Сарай по требованию Хана, я хотел идти к волнам Толы!.. Вдруг приходит Сарай-Ага с Чаушами и именем Хана требует сестры моей... Как из-за тучи в уме моей блеснула звезда! "Сейчас, — сказал я Сарай-Аге, — Мыслимья накинет покрывало и готова будет исполнить волю Хана". Потом оделся я в платье сестры моей, взял на всякий случай шелковую лестницу и ханджар, [88] велел верному Кара-, юли стеречь меня в легкой ладье на Толе, под скалою Эи-Сарайской, и — Гюльбухара! я перед тобою!.. Гюльбухара! — продолжал Эмин. — Недаром луна так ясно светит на нас; может быть, небо благоприятствует нам. Отсюда короток путь до Толы, а там, за Толой, за степями, есть другие высокие горы, есть другие дремучие леса, есть другие люди, которым до нас нет никакого дела; есть вода, звери, птицы. Кара-юли ждет меня.

Эмин свистнул; из-под скалы послышался ответ.

Читатели должны знать, что в этом месте Боярин Люба остановил рассказ Татарина и спросил его:

— Какой Кара-юли? ты или другой?

— Я! — отвечал Татарин, очень довольный собою, показав большим пальцем правой руки на себя и поправив свой тюбетай.

Но вот Кара-юли продолжает рассказ, а я, внимательный слушатель его, привожу в порядок слова, смысл, украшаю их воображением настоящего века и передаю своим читателям.

— Гюльбухара! — сказал Эмин. — Решаешься ли ты идти по дороге, которую я тебе покажу?

— Иду с тобой, Эмин! Готова быть твоей невольницей! Эмин прикрепил шелковую лестницу к перилам навеса.

— Гюльбухара, спускайся, я последую за тобою, — сказал Эмин и, подхватив ее, хотел пересадить через перилы.

— Постой, Эмин, есть средство избавить себя от поисков и преследования. Возьми ханджар свой и начерти на этом почерневшем камне знаки: Бухарскую розу, изломанную черту, женщину на Ханской софе, одну руку ее протяни к сердцу, подле начерти мужчину, которого держит она другою рукою... Теперь начерти еще женщину в колпаке Мирзы... еще изломанную черту... начерти рабыню, начерти струи реки и два круга посредине. Довольно, Хан поймет это!

— Я не понимаю, — отвечал Эмин, — но не хочу терять времени на расспросы. Теперь, Гюльбухара! ты моя!

— Твоя!

Как пушистый, легкий горноста́й перепрыгнула Гюльбухара через перилы, вцепилась в шелковую лестницу; Эмин еще раз свистнул, потом бросился вслед за ней, ниже, ниже... Месяц закатился за облако. Темнота налегла на горы, на утесы и на волны Толы, на Эи-Сарай. Все исчезло во мраке...

Настал новый день.

Харазанли стал весел, как солнце на утреннем безоблачном небе. Мщение Мирзе Хамиду его утешило. Он велел позвать к себе Гюльбухару.

Старая Ага Харэма кинулась в покой новой Хадыни. "Хадыни нет!" — с ужасом объявила она эту новость Сарай-Аге. Он не верил ни словам старухи, ни собственным глазам, когда нашел в покое Хадыни на полу только кинжал. Мрамор был исчерчен непонятными ему знаками.

— Где Гюльбухара? — спросил его Хан, заметив испуганное его лицо и нерешительность, что сказать.

— Ее нет, Хан, и невольницы ее нет!.. Они исчезли, как духи, оставив в память какие-то знаки на мраморе!..

Глаза Харазанли покрылись грозой; он вскочил с софы и бросился сам в Харэм. Окинув взорами хрустальные стены, фонтаны, выход под навес, он остановился над знаками, начерченными на полу.

— Роза! — вскричал он. — Гюльбухара... не... Хадыня!.. дочь Мирзы... не... раба!.. Два круга на Толе... Погибли! И память об них погибнет, и род их погибнет!

Гнев Харазанли был ужасен.

— Черный! — вскричал он. — Зажги гнездо Хамида и брось в огонь этого филина!

Исступленный Харазанли уподобился Гесер-Хану, когда этот монгольский Геркулес, избавленный от очарования, злобно воскликнул, и голос его раздался как гром, производимый в небе синим драконом: земля поколебалась и золотые чертоги его в сильном вихре повернулись 88 раз, а стены градские трижды.

Сарай-Ага с толпою Чаушей бросился исполнять волю Хана.

Они вошли в дом Хамида, чтоб забрать богатство его, которое в подобных случаях снисходительный и жалостливый обычай сохранял в пользу Хана и исполнителей воли его.

Сам Сарай-Ага, растолкав толпы удивленных рабов Хамида, пробрался в отдел Харэма, отбросил двери и вдруг остановился, казалось, что башмаки его приросли к порогу.

На софе лежала молодая Татарка; шум разбудил ее, из-под шелкового

покрывала показался образ, похожий на Цаганзару, прекрасную деву древних преданий.

— Кто ты? — вскричала она.

— Кто ты? — повторил невольно черный Сарай-Ага. Голос черного Сарай-Аги походил на грубый звук *Кангырчи*.^[89]

Испуганная дева скрылась под покрывалом. — Это Мыслимя, дочь Мирзы Хамида, — отвечали со страхом столпившиеся ее невольницы.

— Мыслимя? дочь Хамида? — вскричал черный Сарай-Ага. — Что говорите вы мне. Дочь Хамида вчера еще отвел я к Хану, и теперь она уже в Толе!

— Это Мыслимя! — повторили невольницы.

— Недобрые духи живут в доме Хамида! — вскричал Сарай-Ага. — Чауши! останьтесь здесь; не выпускайте никого из дома!.. а я пойду к Хану, сказать ему про чудо!

Запыхавшись, прибежал он в Эи-Сарай.

— Что тебе, копоть солнца? — сказал Харазанли, еще не успокоившись от гнева.

— Великий Хан, Мыслимя, дочь Мирзы Хамида, жива!.. Та ли Мыслимя, которую я привел к тебе и которая исчезла из Харэма, или другая Мыслимя, только Мыслимя, светлая, как дух Араи, теперь в доме отца своего.

— Привести этого светлого духа Араи ко мне! Черный исчез.

Беспокойно ожидал Харазанли новую Мыслимя. Какое-то доброе предчувствие заменило его исступление и гнев. Взор его прояснился.

— Здесь она, — наконец раздался голос воротившегося Сарай-Аги.

Хан подал нетерпеливый знак раскрыть скорее двери и ввести дочь Хамида.

— Ты ли, Мыслимя? — сказал он вошедшей Татарке.

Она упала к его ногам.

— Прости отца моего! — произнес нежный, очаровательный голос.

Эти слова проникли в душу Харазанли. Он вскочил с дивана, поднял Татарку и сорвал с нее покрывало.

— Твой отец прощен! — произнес Хан трепещущим голосом и не дал дочери Хамида упасть снова перед ним на колени.

— Идите, — сказал он Сарай-Аге и Чаушам, — приведите ко мне Хамида.

Мыслимя объяснила Хану всю тайну происшествия, призванный Хамид дополнил догадки.

Хан простил его, назвал отцом своим и вместе с Хамидом и своей

Хадыней Мыслимя оплакал судьбу Эмина и Гюль-бухары.

— Что ж случилось с Эмином и Гюльбухарой? — спросил Боярин Татарина, который взялся уже за свою тамбуру.

— Что? живут добра на Урга! А Кара-юли хадит с Бату-Хан на Русь и живи теперь добра на Боярина господина Ростислав Глеба!

— Ах ты саламалык! — сказал Боярин, встав с места и столкнув палкой своей с головы Татарина шитый золотом тюбетай.

— Да я тебе не дам ни экмэка,^[90] ни браги,^[91] покуда не отрастишь себе бороду ниже колена!

— Иок, баба! господина! козла борода, Кара-юли Татара, не козла!

Боярин Люба не слышал Татарского ответа: он был уже занят огромным своим Жуком и травил им *рябую зегзицу*, который — бедный! — подвернув под себя голову, катался по полу, спасая лицо и уши от острых зубов собаки.

Жук заговорил как на травле; вцепился в *черные мяса* несчастному дурню Боярскому. Сам Боярин, вообразив, что он на охоте, собирался уже *сострунить*^[92] зверя, а Татарин с тамбурой стоял над ним как с *чеканом*.^[93]

Только Глебовна, взглянув с сожалением на жертву забавы отцовской, торопилась выйти из светлицы.

До какой степени бывает иногда человек унижен! Но часто это же унижение служит к возвышению его. Представьте себе, что судьба, схватив его как мяч, хочет бросить под облака, — не правда ли, что для исполнения этой воли своей она должна размахнуться, опустить руку свою почти до земли и потом уже вскинуть — и вот человек, коснувшись лицом до праха, быстро летит в вышину, летит... разумеется, с тем, чтоб возвратиться на землю, в землю и т. д., но если кто тяжел и у кого в голове нет парашюта, то возвращение его к земле еще быстрее, еще скорее, нежели полет под облака. Вообще падать скучно.

Травля еще не совсем кончилась, когда пришли сказать Боярину, что в село приехал Княжеский гонец с письмом. Гонца призвали к Боярину. И стал читать гонец:

— "Князь Мстислав Мстиславич, старый, Галицкий, посылает ко всем отчинам Князей, Бояром их и Дворяном, и нищим, и сильным, и худым, и простьцем, и ко всем людям, наряд и весть: не держати у себе отроча, сына Воеводы Ноугорочького Ивора, Иву, иже есть возрастом малый, плечами велики, лицом рябый, нелепый, очима малы, точию бо слепы, чермная

Ягодина на челе, другая большая у левого ока. И кто укажет или приведет крестного сына Княжеского, тому дастся во отчину село Княжеское и золотых гривен десять".

— Не ведаю такого ни в дому моем, ни в деревне моей, — отвечал Боярин гонцу, загородив собою дурня *рябую зегзицу*.

Гонец отправился далее, объявлять Княжеский наряд отчинам Князей, Боярам, Дворянам, нищим, сильным и худым...

Между тем Боярин Люба подошел к *рябой зегзице*, осмотрел его с ног до головы, повернул к свету безобразный оттиск лица его, на котором излишества и недостатки противоречили подобию человеческому, и казалось, что считал рябины, вымерял ширину глаз, расстояние их одного от другого, величину рта, ноздрей и носа, толстоту губ и объем лица, как живописец, который сходство хочет похитить циркулем, а не постижением таинственного отражения души в чертах человека.

Осмотрев все бесчисленные приметы своего дурня, по которым можно было бы его отыскать в толпе уродов, которыми исполнен земной шар, Ростислав Глебович, без стуку и шуму своими чеботами, пробрался на половину своей жены.

— Касьяновна! — сказал он ей. — У нас в доме клад!

Касьяновна любила золото, а муж ее истощил его, как молодость и силы свои, и не только на приданое дочери Глебовне, но и на наряды ей самой недоставало уже десятины от бедной, погоревшей смерды села Заборовья, принадлежавшего Ростиславу Глебовичу.

Никто не слышал, что говорил Боярин жене своей, а потом призванной Глебовне, в которой доброта сердечная заменяла все женские недостатки и достоинства, и даже доброту душевную.

— Итак, ты согласна, — сказал наконец вслух отец ее.

— Согласна, — отвечала Глебовна.

— Сегодня же свадьба, завтра еду я в Каменец к Князю Мстиславу, и он даст мне обещанную награду, а тебе приданое.

Представьте же себе, читатели и читательницы, что Боярского дурня, прозванного *рябой зигзицею*, ведут в мовню, снимают с него красный кармазинный кожух и пестную сорочку, *негуют* его душистым березовым венником и наконец, одев в шитый серебром кожух, ведут в храм рука об руку с Боярской дочерью Глебовной.

Он молчит; ему хорошо, тем более что сам Ростислав Глебович отгоняет от него ненавистного ему Жука.

Что Боярин Люба пожелал выдать единственную дочь свою за дурня, это понятно всякому, ибо дурень носил в себе все приметы Ивы Иворовича

Путы-Зарева, Княжеского крестника; но почему Глебовна согласилась без малейшего противоречия выйти замуж за дворового дурня, за рябую зегзицу, за безобразного Иву и т. д., это неизвестно: причины она носила под сердцем. Кто ж, кроме времени, мог объяснить, какого рода были эти причины?

Историки говорят, что это было просто внушение судьбы, заботящейся о продолжении рода Пута-Заревых.

XVI

Великий человек не удивляется ничему, что судьба дает ему; как законный наследник принимает он от нее и золотые горы, и жемчужные поля, и алмазные реки, и двор, построенный из мелкого, разноцветного бисера.

Ива был великий человек. Он не дивился тому, что с ним делалось. Точно так же, как и прежде, смотрел он любовным взором на дворовую челядь, на Татарина и на побратима своего черного Жука.

Но челядь, Татарин в черный Жук изменились к нему; строгим взором Боярин Люба внушил в них понятие, что Ива Иворович Пута-Зарев уже не дворовый дурень, не рябая зегзица; что Князь ему крестовый отец, а Боярин *цтя*.^[94]

— Ива Иворович! — сказали Ростислав Глебович и жена его, возвращаясь из церкви в двор свой. — Поздравляем тебя с милою женою Глебовною!

— Милою женою Глебовной? — отвечал Ивор, посмотрев на Глебовну, у которой в глазах светились слезы.

— Баба Глебовна! — продолжал он, подражая обычаю тестя своего. — Сними с головы моей шапочку, а я утру тебе слезы!

С добрым намерением уже поднял он полу кожуха своего, но Глебовна отвернулась, оттолкнула его руку.

— Грозная, как ма а! — сказал Ива.

И посадили его с Глебовной за браный дубовый стол с разными ествами сахарными и питьем *медвяным*. И пришли к нему на поклон и дворовая служба, и челядь, и деревенская смерда, и Бохмит Кара-юли; только черный Жук, лежа посреди *середы*^[95] светлицы, распустив *брыле* и развесив уши, гордо на все смотрел и иногда только изъяслял свое негодование и презрение к поклонникам Ивы глухим лаем.

Нужно ли говорить, что Боярин Люба торопился ехать с милым зятем своим к Князю Мстиславу.

На другой же день...

— На другой же день! Но как же прошел первый день? — спросит привязчивый читатель, который любит все мелочные подробности до безумия.

Я в подробности не вхожу. Но скажу только, что и сей день, так же как и прочие, кончился захождением солнца. Глебовна же, оставшись наедине с

Ивой, сказала ему наотрез, что до тех пор, покуда не сходит он помолиться богу в Иерусалим, она не поделится с ним ни душой, ни телом.

Итак, на другой день Боярин Ростислав Глебович отправился с зятем своим в город Каменец, к Князю Мстиславу Мстиславичу.

Не буду описывать радость Мстислава, когда он увидел крестника своего пристроенным и счастливым.

"Теперь я спокоен и могу исполнить данное слово покойным родителям Ивы", — думал он.

Боярин Ростислав Глебович рассказал Князю подробнейшим образом, с каким радушием принял он ограбленного Гайдамаками крестника его Иву Иворовича, полюбил его как сына и женил, по доброй воле, на своей дочери, прекрасной Глебовне.

Мстислав Мстиславович дал рядную запись Боярину Любе на обещанную деревню в 50 дворов, на реке Луче, и десять золотых гривен. Крестнику же своему и его молодой жене дал в отчину большое село Студеницу на реке Стры.

Благословляя же Иву и прощаясь с ним, он вручил ему серебряный ковчежец, наследство отца и матери.

Таким образом, раззолоченный Ива Иворович прибыл на новоселье в Студеницу, куда во время *гостьбы*^[96] Боярина Любы все семейство его, извещенное о дарах Князя, успело уже переселиться из бедного Заборовья.

XVII

— Видь! — вскричал Ива, вбежав в покой Глебовны и показывая ей серебряный ковчежец.

Глебовна не обратила внимания на слова Ивы, но чеканный ларчик с печатью тронул женское любопытство, а женское любопытство восторжествовало над равнодушием. Глебовна протянула руку.

— Слюбен я тебе? — сказал Ива, спрятав за пазуху руку, в которой держал ковчежец, и украсив безобразие свое сладкою улыбкой.

Глебовна могла пересчитать все перловые его зубы, могла слышать, как билось его сердце, и видеть, как прищурились от душевного восторга его глаза.

Но она, холодное существо, не поняла этих мгновенных красот, которые показались на лице Ивы; она даже — злодейство! — тяжелою рукою свою смахнула с него счастливую улыбку!

— Вот тебе мое слюбенье! — вскричала она и с этими словами выхватила из рук Ивы ковчежец, и, прежде нежели он успел откинуть густые волосы свои, которые накатились от удара на очи, разорвала печать на ковчежце, отперла, взглянула в него, бросила его назад прямо в лицо Иве, и — ушла.

Ковчежец ударился в широкое чело бедного Ивы; с криком ухватился он обеими руками за голову. Ковчежец покатился по полу, и зеленая травка, как будто только что сорванная с заветных лугов великокняжеских, выпала из него.

Черный Жук, смиренно лежавший во все время в углу, подле муравленой печки, вскочил, бросился на травку, обнюхал ее, съел и — стал извиваться около Ивы.

Ива думал, что это жена его.

— Идь в сором, бесова внучка! — вскричал он. — Чтоб тебе ни доли, ни воли, ни радости, ни угоды, ни лагоды, ни усыпу! Чтоб тебя черный вран крылом притрепал! Чтоб тебя черный Див у молвил!

Ласки черного Жука более и более увеличивались; как любовный приятель ходил он около Ивы; пушистый, огромный хвост его то поднимался вверх и расстилался по хребту, то описывал круги, то прятался между ногами — казалось, что, виноватый перед Ивою, Жук умолял его о прощении.

Ива не принимал ласк; закрыв лицо руками, он продолжал проклятия:

"Идь проче! не емлю Чагу гнезда бесова за жену!.. проче!.."

Жук не вытерпел, приподнялся на задние ноги и облапил Иву.

Жук завыл... и, как будто желая привести Иву в чувство, ударил его лапою по голове.

— Ууу! — возопил Ива.

— Ууу! — завыл черный Жук... покрыв собою Иву.

Чудное действие Эмшана! И не удивительно: довольно было понюхать, чтоб полюбить кого бы то ни было, а Жук не только понюхал, но и съел дивную траву.

На крик и вой сбежались все домашние. Боярин, воображая, что Жук по старой привычке травит *рябую зигзицу*, насладившись несколько минут картиною, которая была для него всегда так приятна, наконец отвлек Жука от Ивы.

Ива очнулся. Сердито окинул он всех мрачным взглядом исподлобья и молчал.

Так прошел день; к вечеру, добрая душа, он все забыл и стал ласкаться к Глебовне.

А Глебовна повторила ему: что не поделится с ним ни лаской, ни добрым словом, покуда не принесет ей монисто из Иерусалима.

— С заранья иду! — отвечал ей Ива и смиренно, сотворив молитву, опочил до заранья.

XVIII

На другой день, чем свет, поднялся Ива на ноги. Все еще спали. Надев богатый козух свой *оловира грецкого*, сапозы *червленого хъза*^[98] и соболью шапку, он отправился прямо в конюшню; оседлав борзого *комоня*, перекрестился, подвел его к высокому камню, влез на камень, взобрался на коня и пустился стрелой со двора.

— Куда? — раздался позади его голос.

— В Русалем! — отвечал Ива не оглядываясь.

"Где ж научился Ива ездить верхом?" — спросят меня.

Гений все постигает без учения.

Вероятно, теперь всякий читатель ожидает подробного описания путешествия Ивы Иворовича в дальний Иерусалим; путешествия, столь же любопытного, как трудная повесть "о том, как Василий Буслаевич, любимый сын матерой Вдовы Амельфы Тимофеевны, взяв от нее великое благословение идти в Иерусалим-град, богу помолиться, святой святыни приложиться и во Иордане реке искупаться, бежит в червленом корабле, со всею хороброю дружиною, прямым путем: по озеру Ильмену, по Каспийскому морю, мимо острова Куминского, по Иордану по реке; кидает якори крепкие под стенами Иерусалимскими, служит обедню с молебнами, расплачивается с попами и с дьяконами, поднимает снова паруса полотняные, едет назад по реке Иордану, по морю Каспийскому, мимо славного острова Куминского, по Ильмену озеру до той горы Сарачинской, где стоит высокий камень в три сажени печатные и где ему сказано *бабою залесною* положить свою буйную голову".^[99]

Подобная трудная повесть поучительна и занимательна; но, сколько известно мне, Ива совершил хождение свое из *Понизовской земли во Иерусалим* сухим путем; и потому его путешествие еще более должно быть поучительно и занимательно.

"В лето 6728-е, говорит неизвестный летописец, Ива Иворович иде Славенскою землею во Иерусалим и негде у *торга Чернавца* пленен бысть Айдамаками Угорскими и обьщствован и в мале не убиен, и убежа, и вбежа в *торг Роман*, идеже, жалости ради, взят бысть Урменским купцом и везен в Дичин (вер. Диногетия, Галиц) и далее..." А далее в летописи ничего нет...

XIX

В 1262 году — когда уже Русская земля была данницею Татар и только смелый Даниил Галицкий не оставлял любимой думы о средствах избавиться от ига поганых Таурменов, Бессерменов, Бахмитов — около исхода Червения^[100] или вернее около начала Зарева^[101] в Понизовской области, Боярин одного села при реке Дана-Стры был имянинник и в ожидании гостей распоряжался в своем красном Боярском дворе.

Главное внимание обратил он на свою псарню. Любимец его, Стременной, встретил господина своего поздравлениями:

— Даруй тебе бог, Боярин, обнести серебряным тыном красный двор твой, а на полях твоих Боярских уродись бурмицкое зерно, а возьми за себя Боярин Княжескую дочь, а надели она тебя дочкой в сорочке, сынком в шапочке, а принеси тебе Усюсю девять выжлят, один в один...

— А что Усюсю? грех молвить, — спросил заботливый господин.

— На износе, государь, на износе, да не печалуйся!

— То-то будет в сей день у меня гощенье, подивить хочу, грех молвить, всех гостей своею охотою!

— Да и где ж диво, как не на твоей Боярской своре, Усюсю не в час осела, ну, заголосит Ставра, подыметя Юлка, повалит Зуб! Брза впустит клыки!.. А Олей? — Диво!.. Покойная, Боярин, родная твоя Глебовна, подала мне стопу зелена вина, как взвидела, как Олей сорвал с быстрых ног зайца!..

— У, тучный! — молвил Боярин, осматривая собак своих и разглаживая круглый живот развалившейся Усюсю.

— А что, боярин, — продолжал Стремянной, — и Немчин будет в гости?

— Какой Немчин? Вельможа, грех молвить, Угорского Короля? будет.

— Немчину, Угру, одна вера! В одну оглоблю ездят! Бесово гнездо! да и того не ведают, что бог дал голову, чтоб носить бороду! Чай, в мовню с женами не ходят?

Не отвечая на слова Стременного, Боярин отправился в свои хоромы, там встретил его верный ключник и ларечник домовый Ян. Покуда Ян кланялся господину своему, ласточка, летний добрый сосед зажиточных людей, влетела в окно.

— Доброе знамение, ластовица! Боярин! будет гость нежданный, — сказал Ян и стал выгонять доброго вестника из светлицы.

— Сегодня последний день ластовицам погостить на земле, — продолжал многоречивый Ян, — наутро вдруг згинут. Иона Белый, мельник, говорит, что ластовицы улетают зимовать на луну.

— Иона Белый, что принес мне на поклон маковник воутрие?

— Маковник? — сказал с удивлением Ян. — И Боярин снедал?

— Не весь, а уломил, грех молвить, — отвечал Боярин.

— Ой? И невесть какая молва идет про Иону Белого: он чаровник!

— Ой! — в свою очередь вскрикнул со страхом Боярин.

— А чем дарил его, Боярин?

— Ничем.

— Придется откупаться! Недаром нечистый дух принес сластей! Того и гляди, что поведет тугою!.. А откупаться, Боярин, дорого, снести бы маковник к вещунье Секлекетикии, да поклониться ей гривнами, чтоб отговорила.

— Идь, Ян, идь! — вскричал напуганный Боярин.

— Сегодня Пяток, Боярин: вишь, говорит, в Пяток прикинется волосатик либо ногтоедица... Да терпеть-то нет часу!

— Идь, Ян, идь! за волосатик заплачу три серебряных гривны, а за ногтоедицу, грех молвить, что хочешь!

— Счетом, Боярин, да четом. Ворожеи любят чет. За все про все десять гривен вдоволь.

— Ой! — сказал Боярин и вслед за сим словом отправился в кладовую.

Ян получил десять серебряных гривен, которыми должно было откупить спокойствие и благоденствие его господина, отправился в соседнюю деревню Яры, которая славилась хмельной брагою и где водилось у него много любовных приятелей. К ним-то являлся он часто делить время, брагу и добычи заслуг, хитростей, плутовства и нечистой руки своей.

Чтоб пояснить хоть несколько все предыдущее, мы должны сказать читателям, что вышеписанный Боярин, нисколько не постороннее лицо тому поколению, об котором идет моя длинная речь, слово, песнь, повесть, сказание, история, быль, вымысел, поэма, ядро, роман.

Его величали: Боярин Савва Ивич Пута-Зарев.

Ему было от роду около 40 лет, но он был еще моложав и свеж, ибо до 39 лет с месяцами жил он в руках строгой родительницы своей Глебовны.

Пестун Ян был давний его угодник; надеясь более на грядущее утро, нежели на потухающий вечер, он всеми силами способствовал баричу Савве преступить заповеди государыни, родной матушки: не лазить по деревьям за гнездами, не ходить тайком в оградину и в посиделки, не

водиться со смердами и т. д.

Савва Ивич любил Яна.

Но вот настало для него время плача и рыдания. Глебовна, как не вековечная, опочила сном могильным. Дедушки уже не было, бабушки уже не было, родной матушки не стало.

И вот Савва, сказав сам себе: "Все мое!" — вступил во владение отчины и стал управлять двором, имуществом и богатством, людьми и скотами, и в особенности наследственной псарнею.

Ян, как надежный и верный слуга, принял от него ключи и назвался Боярским ключником и ларечником; однако же ларец с золотом, серебром и честными камнями избежал от его охранения; ибо в старину водилось обыкновение: никому не доверять ключа от денег.

Ян, как мудрый *Думец*, добрыми советами и наставлениями поселил в своего Боярина все необходимые причуды и веру в приметы, сны, чары и во все затмения ума и разума.

Кто умеет толковать сны, кто знает, как оберегать от дурных примет, знает, как предупреждать беду от просыпанной соли, от глаза, от заговоров, знает, что должно брать левой рукой, что правой, знает, где плюнуть, где перекреститься, которой ногой встать с постели, в который день начинать дело, кто все это умеет и знает, у того в руках узда на суеверных: от его воли зависит оседлать глупца и проехать на нем верхом от угла до угла в предупреждение, чтоб он в числе *тринадцати* не был *тринадцатым*.

Ян владел этой чудной уздечкой и правил господином, как своенравный кормчий послушным кораблем; носил его мысли и желания по своему произволу, как степной ветер носит *перекати-поле*.

Ян воображал, что это продолжится до скончания века, и потому, насвистывая любимую свою песню, пробирался он чрез гору в соседнюю деревню Яры, ни мало не предчувствуя того, что судьба строит против него ковы и кует крамолы.

На дороге, которая шла за загородой села Студеницы, по скату горы, сидел на камне старик в сером кармазинном кожухе. Татарский малахай прикрывал седые его волосы; щетинистые ресницы прикрывали глаза, а длинная борода прикрывала всю грудь его. Время, а может быть, труды, или тяжелые ноши, или добрые люди, согнули его в три дуги, если не более, и безжалостно изрыли чело и все пространство, ограничивающееся волосами, бородой и ушами; потому нельзя было узнать ни настоящего его роста, ни настоящего выражения лица.

Обняв обеими руками посох свой, он преклонил к нему широкое чело свое и, уставив очи в землю, поведывал что-то самому себе вслух:

— Что ты бормочешь, Чаган?^[104]

Старик посмотрел на Яна.

— Не Чаган, а Крестьянин, Ходжа.^[105]

— Какая Ходжа?

— Иеросолимской.

— Ой? Не вынес ли малую часть от гроба господня?

— Зуб уломил! — отвечал старик. — Монисты вымолил у мниха! от туги ли, от неплодицы ли... Жене несую.

— Ай дед! кое тебе лето? — спросил, захохотав, Ян.

— Лето? Бог весть; за поморьем все лето, нет веремья.

— Али и конца животу там нет?

— Да нет; живи себе, покуда Магомет-Султан не укажет снести голову да на кол усадить. "Салмалык, салмалык, анат фема!" — только и речи.

— Страсти!

— А что, Студеница се?

— Студеница.

— Ту двор мой! — сказал старик, встал и пошел с горы, к селу.

Ян осмотрел его с ног до головы; произнес с досадою: "Брешешь! Чаган окаянный!" — и также пошел своею дорогою в деревню Яры.

Между тем на Боярский двор селения Студеницы прикатили гости в колах, телегах и верхом.

Толпы Доезжачих, Стременных, Ловчих, Псарей с заводными конями и со сворами собак охотничьих вслед за ними.

Полевая рать выстроилась в ограде, и прозвучала в берестовые рога и кованые трубы весть о прибытии на *Стан*.

— Тобе ся кланяем! — сказали гости Боярину Савве, поднимаясь на крыльцо, складывая арапники и затыкая их за шелковый пояс.

Отвесив гостям своим торопливый поклон, Савва Ивич бросился к сворам псов и приветствовал их как родных, как верных друзей своих, объятиями, ласками, нежными словами, душой, сердцем, радостью и всею искренностью приязни.

Не буду описывать всех тех ласк, которыми Савва Ивич осыпал гончих и борзых псов. Восторг охотника непонятен для человека, который равнодушно думает о благородном занятии своих предков. Борзая Стрелка на тоненьких ножках, с сжатыми *зацепами*, хорт Ласточка с *перехватом*, звонкая Юла с *волнистою степью*, Зарница с острой стерляжьей головкой и с *правилом*,^[106] свернувшимся в кольцо... Это такие существа, которых не заменит ни любовь, ни дружба.

Воевода, уверенный в победе, не едет так гордо на коне своем и не смотрит так доверчиво на рать свою, как лихой охотник на скачку псов, бегущих вслед за ним.

Перегнув набок шапку, избоченясь на Угорском седле и на коне Татарском, он смотрит вдаль и охотничьим глазомером предугадывает, где зверь красный, где мелкий и где нет ничего.

Какая дисциплина во всех, движениях! *Мин* проглядел серого, заяц прокрался между двух зорких глаз его, бич выправляет спину Мина, вставляет ему новые глаза, дает верный прицел, снабжает его надежным вниманием, обновляет, молодит старого Мина, который несколько уже десятков лет как ходит с верою и правдою за любимыми псами своего Боярина: кормит их, голодая сам, укладывает на мягкие подстилки, страдая сам бессонницею от изломанных боков, рук и ног; скачет по рвам и пущам за зверем и, не в свою голову, бережет Боярского коня.

Великое дело были в старину война и охота!

"А се труждахся ловы дея, — говорит Владимир Мономах в своей духовной, — конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20 живы конь. Тура мя два, метала на розех и с конем, олень мя один бол, а две лоси один ногами топтал, а другый рогами бол; вепрь ми на бедре меч оттял; медведь ми оу колена подклада оукусил, лютый зверь ко мне скочил на бедра и конь со мною поверже, и Бог неврежена мя сблюде; и с коня много падах, голову си розбих дважды, и руце и нози свои вередих, в оуности своей вередих, не блюдя живота своего, не щадя головы своея".

Золотые, богатырские времена! Что мне в этой пуховой неге, которая вас заменила!

Утерев бобряным рукавом слезы на очах своих, я обращаюсь к Савве

Ивичу.

Осмотрев чужих хортов и показав своих, променяв ядро на скорлупу, он велел убирать белодубовый стол скатертями браными и подавать ествы мясные, рыбные, ковриги^[107] и *погачи*,^[108] и питья медвяные.

Вот Савва берет уже куфу^[109] с слибовицей и сам подносит гостям: сперва новому знакомцу своему, Младеню Черногорскому, у которого два хорта ценой на вес золота, два Стременных ясных сокола, конь Арабский, покрыт червленою паволокою, а седло и узда золотом кованы.

Потом подносит он любовным приятелям своим Радану от леса, Ключовичу с Веселого Хлёмка, Риву с Черного бора и Ляху Мниславу.

Все готовы уже садиться за стол... вдруг на дворе раздается шум и крик. Бегут к окну.

Посреди двора седой старик, окруженный челядью и холопами, отбивается длинным своим дубовым посохом, отбивается удачно.

Дубинка, как будто по щучьему веленью, а по его прошенью, работает сама, ходит вдоль и поперек по головам, по бокам, по рукам, по ногам и считает ребры.

С воплем удаляется челядь один за одним. Около старика поле чисто, и вот, очертив воздух еще несколькими волшебными кругами, он опускает свой посох, подпирается им и продолжает свой путь к хоромам Боярским.

— Радуйтесь, что на пути из Иеросолима покрали мой ятаган! Снес бы вам, поганые холопы, по голове, узнали бы, вы своего Боярина! — говорил он, поднимаясь на крыльцо, на котором уже стояли Савва Ивич и гости.

— Чего тебе, старая клюка! — вскричал Боярин грозно.

— Требен мне не ты, дубовина, а требен Боярин Родислав Глебович, да моя Глебовна!

— Чу! Боярин Савва, подавай ему Глебовну! Не сродни ли он тебе? — произнес насмешливо Ключодович с Веселого Хлёмка.

Все гости захохотали, кроме смущенного Саввы и Младеня Черногорского, который, кажется, никогда не унижал прекрасной и гордой своей наружности смехом. Иногда показывалась на лице его презрительная улыбка, и то тогда только, когда малодушие людей трогало его чувства.

Старик, не обращая ни на кого внимания, пробрался сквозь толпу гостей в светлицу.

— О, — говорил он, — будут Глебовне добрые вести от Ивы Иворовича Путы-Зарева! Где же Глебовна? И обед на столе!..

— Не с погоста ли, старень? Преди поклонись хозяину, потом проси гошенья! — сказал Лях Мнислав, показывая старику на Савву Ивича и заливаясь смехом.

Старик посмотрел на него, потом на Савву и пошел далее.

Есть предчувствие или нет? Что такое предчувствие? Не есть ли оно тайный вожатый преступника к казни, а доброго к награде?

Но по предчувствию или просто случайно, только Савва Ивич ходил за стариком, как Гридень за Князем. Все гости, кроме Младеня Черногорского, также шли вслед за ним, забавляясь и смущением хозяина, и чудным стариком, который торопливо пробежал светлицу, сени, камару, терем, внимательно все рассматривал и чего-то отыскивал взорами.

Казалось, что он удивлялся какому-то беспорядку, который вынес вон все знакомые ему вещи и заменил другими.

Собралась и любопытная челядь, собрались холопы и слуги. Все толпилось вслед за ним.

Наконец старик остановился. Обратился к толпе, стукнул об пол посохом.

— Где же Боярин Люба, где Касьяновна, где Глебовна, где Татара Кара-юли, черный пес Жук, пристав Яслина, сокольничий Яруга, ловчий Мазур и вси, вси, вси? — возопил богомолец Иерусалимский.

Громкий общий смех преследовал слова его.

— Отъиде вси на суд божий, старень! — отвечал ему Ключович. — По вечерам пожелал ты утра! Утро на погосте, и Родислав Глебович на погосте, и Глебовна там, и Татара, и вси, вси, вси! Поклонись же, прославь сына Глебовны, Савву Ивича, дасть тебе, мимоходящему, и братна и питья.

— Сына? — вскричал старик. — Рода Пута-Зарева, ветви Ивиной, плоду Глебовны?

— Правдиво, правдиво! — вскричали все гости.

Старик приблизился к Савве Ивичу, осматривает его с ног до головы.

— Глебовны? — вскрикивает он наконец. — Глебовна дитя ми роди?

— Дитя ти роди? — вскричали гости. — Савва Ивич, тебе ся кланяем!

Боярин Савва Ивич стоял ни жив ни мертв, он считал старика дивом, принесенным Белым Ионом в маковнице, считал жильцом того света, пришедшим от деда и матери за ним.

К счастью его и к удивлению общему, слух о чудном старике, который, как *домовин*,^[110] распоряжается в доме Боярском, поднял с печи старую Голку, няню покойной Боярыни Глебовны. Она пробралась сквозь толпу до старика, взглянула на него и вдруг повалилась ему в ноги.

— Родной ты мой! Боярин Ива Иворович! — вскричала она. — Сподобил тебя векожизные приидти с Русалима на родину... да не узреть уж тебе Боярыни своей, кормилицы нашей Глебовны! У Бога душа!.. а дал тебе Бог красное детище, Савву Ивича!..

— Красное детище Савву Ивича? — повторил старик, обратив взоры свои на Савву Ивича, который был вдвое его выше и вдвое толще.

Но вот догадливый Савва Ивич становится пред отцом своим на колени.

И прия его Ива Иворович любовно, говорит летопись.

XXII

Таким-то образом, любезные читатели, заботилась судьба о сохранении рода Пута-Заревых в минуты самой отчаянной безнадежности на продолжение его. О, кого бережет судьба, тот не тонет и не горит, в том неистощимы силы, как золото в недрах земли, тому везде путь, дорога и добрые попутчики, везде красная погода, приют и пристань. Он оступится, летит с утеса и падает не на твердую землю, не на камень, а на пух, в объятия! Хочет любви — его любят, хочет жены — завидная невеста готова; желает иметь дитя... И во всем, во всем он предупрежден и судьбой, и добрыми людьми.

Так был охраняем судьбою Ива, так будет охранен и сын его, и внук его, и правнук, и праправнук, и пра-праправнук его.

Однако же Савве Ивичу около сорока лет; пора жениться. Он не заботится об этом.

XXIII

Высокий, правый берег Дана-Стры^[111] озирает отлогий скат Понизовской земли. По реке и в протяжных долинах, впадающих в оную, лежали городища, селы и деревни; между ними расстилались бархатные луга; за лугами, по возвышенности, черный лес, за черным лесом непостоянное небо, то голубое, то синее, то ясное, то пасмурное, то грозное, со всеми причудливыми образами туч и облаков.

В одном месте, где Дана-Стры пробил себе дорогу под самым утесом крутой стороны, огромная скала, одетая по бокам частым кустарником, выдалась вперед и стояла под рекою как задумчивый паломник в темной ризе, с открытою седою головой.

За спиною этого старца лежал глубокий яр, в котором тоненькая струйка, вытекавшая из родника, пробиралась между толпами мелких камешков, переговаривала с ними, обещала им золотое дно и увлекала доверчивых на темное дно Дана-Стры.

Тропинка от самой реки обвивалась около скалы, как змея около Первосвященника Аполлонова, и выносила голову свою к самому челу ее. Тут, под гранитным навесом, была площадка, обведенная перилами. В камне были вырублены несколько келий, высоко занесенных, как гнезды хищных птиц.

Близ одной из них, на очаге, также вырубленном в камне, трещал огонек, перебираясь с ветви на ветвь сухого дерева, брошенного ему в жертву.

Подле очага сидела молодая женщина.

Вечернее солнце тихо катилось за черный лес в ожидании лучей своих, кои прокрались сквозь облака и не могли насветиться на ее красоту.

Только по слезам в очах, по белизне лица, по тихому, нежному голосу и по волнению груди можно было скоро догадаться, что это сидел не юноша, ибо мужская одежда обманула бы неопытный взгляд прохожего. *Червленная капа*,^[112] разузоренная золотою тесьмою, прикрывала темно-русые локоны; красная бархатная *ячермица*^[113] обнимала стан ее, снежная риза, с длинными широкими рукавами от самой шеи, где светилась запонка, скрывала пышную грудь и, перетягиваясь широким шелковым поясом, струилась в бесчисленных складках, до колен; синие *шалвары* и красные на ногах *опанки*^[114] заключали простой ее наряд.

Задумчива сидела молодая женщина; низала на железный прут

нарезанные куски серны и пела:

Бедуе, бедуе мое сердце,
Нарекае мутно злую вестьбу!
Чи ся растомила моя Мильцу?
Солнце ли на небе темно свете;
То же солнце свете мне в оконце,
Да не та уж ласка в дружнем взоре!
Помутися, глубокая память,
Не шепчи мне про старую песню:
То не снеги ль холмы убелили?
То не стадо ль лебедей усело?
Кабы снеги, стаяли бы снеги,
Лебеди давно бы улетели;
То не снеги холмы убелили,
То не стадо лебедей усело:
Черногорский юнак, ^[115] храбрый Младень,
Холм оставил белыми шатрами!

...

Еще не успела она кончить песни своей, как вдруг в яру раздались голоса, под горою, в густоте леса показались несколько всадников. Быстро взнеслись они, один за другим, на полугорье, соскочили с коней; кони бросились под навес, устроенный под высокими деревьями, а они поднялись по тропинке до того места, где сидела женщина.

Их было семь человек, главный из них приблизился к молодой женщине.

— Мильца! ^[116]

— Младень! ^[117] — отвечала она и протянула к нему руку, которую он сжал в своей руке. — Была ли часть на лове?

— Властовицы не встречали!.. с горя только двух орлов снял с поднебесья!.. Утомился!.. Дай хмелю, Мильца! пици не хочу!.. Побратими, сидите!

Мильца поставила в куфах брагу и вино и на блюде жареную серну на посланный ковер на площадке.

Сбросив с себя сабли и стрелы, все уселись вокруг огромного блюда и куф, отирая с лица пот, Младень раскинулся в стороне, около перил, столкнул набок свою шапку и подставил под голову ладонь.

Он был в перепоясанном шелковом *капоране*,^[118] сверх коего была на нем обшитая шнурками *ячерма*. Все прочие так же были одеты, но гораздо проще.

Младень был прекрасен собою и молод; черные волосы клубились из-под шапки, черные глаза пылали, смуглое лицо было мрачно. Товарищи его как родные походили друг на друга: те же черные волосы, одинакий быстрый взгляд, который не znalся ни с страхом, ни с нежностью, то же выражение лица, не понимавшее ни смущения, ни притворства, один голос, громкий и решительный, как приговор.

Согласуясь с мрачным расположением духа Младеня, все молчали, заботясь только о том, что стояло и лежало на столе, но Младень прервал молчание:

— Служил я службу отчине родной, Сервлии; владыки не решили правду, не размыслили моего разуму и храбрости. Пусть же им *зле* разлива по утробе! На поганенье не дам се!.. Далече от отчины родной служу службу ей! Из темного леса, с крутой горы, из глубокой воды, из-за черной тучи крадусь на вражьи нехристные силы и бью Хинских Татар и жадных купцов морских!.. Слушайте же, побратими!.. Внимай, Мильца! Видел я в *Торговой Веже* Грека, а у него дочь, девойку юну!

Мильца побледнела.

— Видел я ее! чего же вам еще, побратими?.. Слышала ли, Мильца?.. Душа добудет славу, хочет другой... так и сердце, Мильца!.. Да что же мне в том, что видел я девойку юну! Я хочу купить ее золотом или кровью!.. У Грека я купил бы дочь его, да *Торговую Вежу* взяли бусурманы! Прозвали Хатыню, в честь Гречанки юной; а Гречанку юну взял к себе богатырь Султанли! и любит ее!.. Побратими! отбейте ее, отдайте мне!

— Ха! — вскричали все. — Хайдуки в твоей воле, и девойка твоя!

— Твоя! — отозвалось в яру, в горах и в извилинах Дана-Стры.

Быстрою тенью пронеслась Мильца мимо всех к перилам и вдруг исчезла с площадки. Под скалою раздался шум, похожий на бег лани сквозь чащу леса, этот шум краток: рога скоро сцепятся с ветвями и остановят порыв ее.

— Мильца! — вскричал Младень.

— Мильца! — повторили все прочие Гайдуки и бросились к перилам.

— Где она?

— Под скалою!

— Под скалою! — вскричал Младень исступленным голосом. — Принесите же разбитый череп Мильцы! Я напьюсь из него!

— Любила она! — сказал один из Гайдуков.

— Не видно под скалой, верно, разбилась о деревья и скатилась в яр, — сказал другой.

— Жажда! жажда! принесите мне хоть каплю крови ее! — вскричал Младень.

Все Гайдуки бросились по тропинке вниз под скалу, обошли ее, приблизились к тому месту, где думали найти труп Мильцы.

На земле ни Мильцы, ни следов крови.

— Где ж она?

— Чи ли черный змей уел красную Мильцу?

Глухой звук стога раздался над ними. Все обратили глаза на пространный бук, стоящий над самою вершиной скалы и окруженный частым ивняком.

— А, птаха! на чужое гнездо села!

С трудом взобрались Гайдуки на крутизну.

— Тихо, братие: слетит!

— Вот она!

Дикий виноградник, как сеть зверолова, растянулся по ветвям бука, как паутина, переплел длинные свои нити, униженные огромными листьями.

В эту-то висевшую над пропастью колыбель, как будто устроенную нарочно для принятия новорожденного, упала Мильца и лежала без памяти, как сонное дитя, опутанное пеленою.

Осторожно разорвали Гайдуки зеленые оковы ее, осторожно спустились вниз, и вскоре беспмятная Мильца лежала на ковре, перед Младенем.

— Вот она! — вскричал Младень и взял беспмятную Мильцу за руку.

Тяжкий вздох вырвался из груди Мильцы, она очнулась, взор ее остановился на Младене.

— Жива! жива Мильца! — вскричал снова Младень и обнял ее.

Радостно или тяжело это возвращение к жизни? Та же душа, обремененная горестями, остается в человеке или душа обновленная, готовая опять предаться обманчивым надеждам и снам, любви и ненависти, улыбке и горю, мелочным блаженствам и воображаемым мучениям? Та же в нем остается душа или очищенная от бремени суетных мыслей и сохранившая в себе только бессмертие?

— Мильца! — сказал Младень, успокоясь. — Мы были свободны, будем же и всегда свободны!.. Своими черными очами ты подрезала крылья мои, Мильца! но они снова оперились, хочу воли.

— Богу-милый!.. не хочу с тобою розмирья!.. Люби другую!.. но дай и мне волю! — произнесла жалобным голосом Мильца.

— Мильца!.. волю тебе?.. Чи ли хочеш в темном лесе заглохнуть? Чи ли на дно воды кануть? Чи ли на шеломяне^[119] вспеть себе конечную песню?.. Нет!.. любица моя! не дам обвить тебя змею... не увидишь разлучницы своей... горе не ответит души твоей от тела... будешь спать на мягких постелях, под собольими покрывами!.. Слышишь, Мильца?

Как жалобный голос свирели, заплакала Мильца слезами огненными.

Часть вторая

Слишком за четыре столетия до настоящего времени, в Княжестве Киевском, в селе Облазне, пастух Мина собирал стадо. Его берестяной рожок будил всех, начиная с сельского Тиуна до последнего ощипанного на побоищах сельского петуха.

Баушки, старушки, молодушки красные девушки и малые ребятушки зевали, протирали глаза, накидывали на себя какую-нибудь *лопоть*, [\[120\]](#) *зипун* [\[121\]](#) или *шугай*, [\[122\]](#) отворяли косячатые ворота, брали в руки длинную хворостинку и выгоняли скотину на широкую долину. Там принимали ее в свое попечение добрый пастух Мина и два верные его сподвижника: *Рудо*, волчий враг, да *Сур*, хвост улиткой.

Сельское утро всегда и везде одинаково. Как заметно пробуждение всей природы, пробуждение радостное, живое! Мычанье стад, переключка петухов, го-го гусей, ква-ква уток, лай собак, щебетанье ласточки, порханье голубя, вдали свист соловья, в высоте песнь жаворонка и тут же хлопанье бича, крик, говор, шепот, здравствование, все слито в слово: жизнь.

Но вот в селе опять все утихло; только столпившиеся гуси и утки, кажется, советуются: с чего начать новый день.

Вот добрый пастух Мина выгнал стадо за село.

Вот взобралось оно на гору, остановилось, всматривается в отдаление, покрытое туманом, мычит друг другу вопросы: где же Днепр?., где наш водопой?..

Мина взбирается на высокую *могилу*. [\[123\]](#) Близ могилы тянется проезжая дорожка. Это любимое его место. Здесь разнообразие проезжающих и проходящих разнообразит его жизнь впечатлениями неясными, как все его понятие о жизни.

Мина не молод, но свеж и здоров, он не из числа тех пастухов, в которых влюблялись богини или которые влюблялись сами в себя, но Днепровская Вила [\[124\]](#) любит его, как Нимфа Эхо любила Нарцисса. Она любит его рожок, его песни, уносит звуки в ущелья, в волны, в глубину рощей и играет ими как дитя.

Мина равнодушен: он не для нее поет и играет; он прост; он не имеет понятия о восторгах.

Почти с младенчества обреченный пастушеской жизни, Мина вместе с утром является посреди стада, в полянах, на лугах, на горах, на берегу Днепра, окрест села своего и занят только своим стадом, своим рожком,

своими двумя сподвижниками, своей котомкой с хлебом и с солью, своей *костыгой*, которою он ковыряет лапти, и — более ничем.

Молча проводит он дни свои.

Иногда только говорит он сам с собою, с Рудом и с Суром или делает строгие выговоры отстающим от стада *буйным кравицам*.^[125]

Небо для него то же, что потолок избы, в которой проводит в глубоком сне ночь.

Солнце для него то же, что паровая лучина, освещающая его скудный ужин.

На луну смотрит он как на ясную лысину сельского Тиуна.

А на звездное небо он никогда не смотрит, потому что с захождением солнца кончаются его ежедневные жизненные заботы, и он спит крепко, спокойно, тогда как сердце или страсти заставляют других считать звезды, вопрошать их о судьбе своей и бледнеть как луна от страха и неудач.

Не участвуя ни в чем, что происходит между односельцами и соотчичами, не разделяя ни с кем ни печалей, ни радостей, ни страха, ни надежды, Мина не ведает, что кругом его происходит.

Рожденный между язычниками, поклонявшийся Пану, он не заметил даже и того, как в селе стали поклоняться истинному Богу, а кланяться Паном.

Вот однажды, раным-рано, пастух Мина засел на высокую, любимую могилу и стал пробовать свой новый рожок.

Налюбовавшись наружностью его, чисто обтянутою берестяными ленточками, он должным порядком продувает его и, отделив по три пальца с правой и с левой руки, накладывает их на продушины и играет любимую свою песню.

Далеко раздается рожок и слова. Днепровская Вила прислушивается:

I

Ох да гой-есте вы, добрые-ста люди!
Не знавали-ль-ста вы пастуха *Неволю*?
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру!.. пастуха *Неволю*?

II

Стережет-ста, бережет свою скотину,
Выгоняет ее в поле на покормку.
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, в поле на покормку.

III

Без нево-ста разбрелось бы стадо
По лесу, по степи, по трясине.
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, по трясине.

IV

Уж как бросится хозяин-ста за стадом,
А у стада обглоданы кости!
Ась? что? не тово?
Туру-ру, туру-ру, обглоданы кости!

"О го-го-го-го-го!" — раздалось вдруг за спиною пастуха. Он оглянулся. Два всадника неслись по дороге во весь опор. Испуганное стадо разметалось в стороны.

Мина еще в младенчестве слышал Сказку от старого пастуха Урила про древнего пастуха Мокоша.

А у того чудного пастуха Мокоша была жена Яга, и были у них двое детей, сильных и могучих богатырей, и были те богатыри, *Сила* да *Ледь*, под трубами повиты, под шлемом взлелеяны, концом копья вскормлены.

На них-то походили во всем скакавшие два всадника.

Не успел еще пастух Мина разглядеть их надлежащим образом, вдруг старшой из них наскочил на него, приставил к груди его копье булатное и заревел громким богатырским голосом:

— У у у у у!

— Помилуй, государь богатырь! — возопил Мина, упав на колени пред неизвестным храбрым и могучим богатырем.

— Помилуй его, государь Ива Олелькович! Се Мина, пастырь Боярской говяды, — проговорил приспешник богатырский.

— Ой? — произнес богатырь, умерив свой гнев, и пустился во весь опор по дороге. За ним поскакал и оруженосец.

— Злобесный волк! абы возложить ти на главу шелом берестень с еловцы^[126] мочальны! — сказал Мина, смотря вслед за ними.

После сего обстоятельства жизнь пастуха Мины приняла опять обыкновенное свое течение, ничем не нарушаемое.

Обратимся же к тому любопытному времени, над которым вымысл тешится как ему угодно: рядит его в пеструю одежду, в кожух, в *саадйк*, в доспехи, в латы, нахлобучивает на голову ему красный колпак и шапку железную, осыпает его золотом, серебром, жемчугом, цветными, честными, самоцветными камнями и унижает бисером, сажает его на *комоня*, или на коня, вооружает сулицами, мечами, *колантырями*,^[127] *кордами*, *бойданами*, секирами, саблями, *шереширами*,^[128] стрелами, дубинами, булавами, палицами, кистенями и т. д., и всем, всем железным, кованым, каленым, булатным, *харалужным*.

Предание есть свиток писания, истлевший от времени, разорванный на части, выброшенный невежеством из того высокого терема, в котором пирует настоящее поколение, и разнесенный ветрами по целому миру.

Соберите эти клочки истинны, сложите их, доберитесь до смысла, составьте что-нибудь целое, понятное... Друзья мои! это мозаическая работа, это новое здание из развалин прошедшего, но не прошедшее.

Вот вам груды камней, рассыпанных по пространству, некогда составляли они великий храм, диво разума и силы человеческой, снесите их, сложите, узнайте: который был подножием и который был кровом, оградой?..

Вы откажетесь от этой работы, вы скажете: лучше создать из этих остатков что-нибудь подобное бывшему храму, а не губить время на тщетные догадки, на напрасные изыскания, на вечные исследования.

Однако же, милые читатели, я пишу с тем, чтоб вы верили словам моим Нелегко отыскать прошедшее в настоящем, но я нашел его и имею на то убедительные доказательства

Недавно еще видели вы прелестную Мильцу на правом берегу реки Дана-Стры, приходящую в чувства в объятиях Младеня.

Теперь она не в том уже положении.

Мильца сидит подле красного оконца в своем тереме. Она уже на левом берегу реки Дана-Стры.

Как ластовка рано шепчущая, поет она про себя что-то печальное.

Верно, время было худой *лечец* ее горю.

На руках у нее дитя. Она баюкает, лелеет его, нежит, смотрит, влюбляется в него.

Как ластовка рано шепчущая, напевает она печальную песню:

Уродилось в отца мое милое чадо!
Уродилось в сердечного, слюбного друга!
Будь же ты ему, чадо, во всем и подобно:
Он так красен собою, он силен, бесстрашен.
Будь подобно красой и душой, да не сердцем
В буйной груди его перелетная пташка.
Для чего тебе сердце без веры и правды?
Я отдам тебе сердце, материнское сердце,
Твой отец это сердце забыл и покинул!

— Хэ! Радовановна! — раздалось во дворе.

Мильца вздрогнула.

— Приехал! — произнесла она со вздохом.

— Радовановна! — повторил тот же голос.

— Расступися, сыра земля! повидь дива!

Непроходимый ловец Савва Ивич вошел в светлицу, за ним ввалили смурогая Иглица и ищейный, ползчивый Луч; а ловчий и доезжие втащили огромного волка.

— Видь, Мильца! серый, босой волк! усел в *тайник*. долбень в голову! — а Иглица так в ухо и вцепилась! Иглица! идь сюда, идь в *закуту*!
[\[129\]](#)

Должно сказать, хоть между прочим, что Ива Иворович, отец Саввы Ивича, как говорит предание, *тоя же яры, про межу говенья, в Пяток, в заутреннюю годину, в старости честне и глубоце, преставися с миром, увечав сыновче своему, единородному Савве Ивичу, душу блюсти, а жене его Мильце Радовановне тружатися рукоделием.*

По завещанию Савва Ивич блюл душу свою на полеванье и в псарной закуте; а Мильца тружалась рукодельем или, сидя подле оконца с младенцем, пела, проливая слезы и смотрела на вьющуюся из села дорогу на гору, как будто кого-то ожидая.

Между тем как Савва Ивич показывал Мильце босого, затравленного им волка и отправился в закуту...

Вдруг послышался во дворе звук рога, возвещавшего приезд гостя.

Мильца торопливо выкинула голову из оконца, громко вскрикнула, бросилась к дверям... и гость был уже в ее объятьях.

По лицу ее разлился румянец, очи, как небо ясные, закрылись; по ее белой шее покатались витые, как перстни, кудри.

— Мильца!

— Младень!

— Крепко, крепко, Мильца! под сердцем у меня бьет кровавый ключ!.. жми меня, крепко!

— Младень! Смотри, смотри! — вскричала очувствовавшаяся Мильца и повела Младеня к подушке, на которой лежал младенец.

Младень, шатаясь, подошел к младенцу, взял на руки... но кровь хлынула из груди Младеня, он зашатался, положил ребенка на ложе, схватил опять Мильцу в объятия, прижал ее к сердцу.

— Мильца, Мильца!.. крепче!.. бьет кровавый ключ из сердца моего!.. Она не любит меня!.. не любит; не люблю и я ее!.. Смотри, Мильца, как ядовитая Зоя, Грекиня, ужалила меня своим железом, да не спасла себя, злая Грекиня, ножом от сердца огненного, от уст распаленных!.. Кровью за кровь!.. отмстил я... и бросил в Дана-Стры!.. Пусть обмоет в реке окровавленную, белую ризу!.. Мильца!.. Любишь ли ты еще меня?.. Я с тобой хочу умереть!..

Руки беспамятной Мильцы замерли, обвившись около Младеня.

— Мильца! ты любишь меня! — вскричал Младень.

Мильца не отвечала.

Кровь из раны Младеня струилась потоком. "Мильца!" — повторил он, сжав ее в объятиях; "Мильца!" — повторил еще слабым голосом и рухнулся с нею мертвый на землю.

— Гость? — раздался голос Саввы Ивича. — Милости прошаем!

Савва Ивич вошел в светлицу.

Видит поток крови, видит Мильцу, видит гостя; никто не отвечает на его вопросы, ни Мильца, ни гость, только вопль младенца, скатившегося с изголовья на ложе, звонок и жалок.

Ищейный пес лижет теплую кровь.

III

Новый предок Барича, героя повести, как говорит Летописец, родился в самое неблагоприятное время для повествования. Время чародеев, ворожей, вещунов, звездочетов и кудесников рушилось с проявлением святой веры. А время богатырей и витязей также прошло в вечность с появлением Татар. Последние: Александр Попович и слуга его Тороп, Добрыня Рязанч Златой Пояс и семьдесят других богатырей утонули в истоке кровавой реки, потопившей всю Русскую землю,^[130] но это не помешает пройти нам чрез тьму, которая лежала над тем пространством, где была колыбель наших добрых праотцев Скифов.

Все возобновится!

В начале XIV столетия Русь не только бедствовала под игом злобных *Тохар*,^[131] как говорит Летописец, но и была омрачена облаком Еллинской мудрости. Едва только посаженное древо веры начинало увядать.

Презрение, оказываемое Татарами к обрядам св веры, уничтожало уважение к оным и в самих Христианах. Различные толкования Священного Писания раздробили единство Церкви, явились ереси, явились совершенные вероотступничества, явились новые поклонники идолов. Одни только церковные праздники соблюдались, ибо они давали право на бездействие; но празднества и игрища приняли снова вид времен языческих.

Священники не знали над собой никакой власти; они торговали обрядами веры; крестины отлагались до свободного иерейского часа; церковные обряды свадьбы также отлагались; жених и невеста, довольствуясь согласием отца и матери, вступали в брачный союз, и очень часто иерею случалось в один и тот же день венчать жениха и невесту и крестить у них сына или дочь; одни только покойники, не дожидаясь иерейского отпущения на тот свет, отправлялись в землю без благословения, сопровождаемые только воплями и рыданием родных и наемных плакуш. Съедаемая на могиле кутья и распиваемая Ракия^[132] были часто единственным обрядом погребения.

Но обратимся к нашей повести.

Уже месяц был на закате, а звезда денница на востоке — Савва Ивич не собирается на ловлю. Это худой знак; и очень худой, если читатель помнит, что, возвратившись с лова, он нашел Мильцу испустившую дыхание в объятиях Младеня Черногорского, плавающего в крови, а

безвременный плод своего союза и любви к Мильце испускающим звонкий плач.

Савва ударился в слезы — и весь двор его плакал; потому что сроду никто не видал такой доброй боярыни, какова была Мильца: она никого не жаловала недобрым словом; при ней было вдоволь и хлеба и соли, а по праздникам пирогов с липником и с маком. Она часто плакала и плакалась за других, а нищим и *небогим* подавала милостыню, а детям давала сладких ковриг, а болящим доброе зелье; при ней все пело веселые песни и плясало под бубны, рожки и сопелки.

Савва Ивич, очнувшись от горя, вспомнил, что Мильцу и Младеня должно предать земле; он послал в *Зимницкий погост* за иереем; но иерей праздновал Пасху и до Троицына дня положил никого не хоронить. Что было делать? *Спеленали*^[133] тела Младеня и Мильцы, уложили в дубовые *корсты*,^[134] отнесли на могилу, совершили тризну брашною и вином и тем кончили обряд погребения.

IV

Под надзором не отца, но дряхлой Иловны, Лавр рос не по годам, по часам. Он пошел не в отца. Когда русые волосы Саввы Ивича уже поседели и он, отягченный летами, покинул уже ловлю, перевел собак из закуты в свою светлицу — у Лавра вились уже на плечах черные как смоль кудри, в очах светилось удалство, в сердце шумела буря юношеских страстей, в голове толпились желания, в душе жажда воли и славы.

Он любил старую Иловну; она одна заботилась об нем, ибо отец его заботился только о своих собаках. Но Иловна была не *векожизна*,^[135] она отдала богу душу.

После смерти ее Лавра ничто уже не приковывало к дому.

Узнав, что все Князья Русские идут войною в горы Черкасские по Ханской воле на Ясов и Оуланов,^[136] Лавр сдружился с Мирзой *Якши*, Темником Понизовской земли, отправляющимся в *Аш-Тарханы*, где было сборное место Князей. Зная, что отец не согласится на отъезд его, он скрылся тайно из отцовского дома и пустился с Татаринцом по реке Бугу, от Буга большим окопом^[137] через степи, заселенные Ордами Татарскими, и через реки: *Куфис*, *Алматай*, *Сингуль*, *Данапр* и проч. вплоть до *Саркела* на *Танаше*,^[138] и потом степью же до *Аш-Тарханы*.

Стан Князей Русских был расположен между рекою Атель и Ахтубой.

Лавр поклонился Князьям: Великому Князю Димитрию, Андрею Александровичу Городецкому, Князю Ростовскому, Князю Ярославскому и Князю Глебу Белозерскому, потом явился к Хану Мангу-Тимуру, ибо желал служить вольным воином.

В Просинец^[139] войско Татар и Русских двинулось от Ателя к Терку, прошло реку Соану, перешло Терк и обложило город Тиауко, близ ворот железных, в городах Ясских и Черкасских.

Когда уже Тиауко был взят, Аланы и Ясы покорились снова игу Татарскому.

Лавр невзлюбил губительной войны, размышляя, что под игом Татар есть только одна слава: свергнуть иго их — он отстал от рати, переходившей Аланскую землю, и ехал задумчиво боком юдоли. Конь его, управляемый собственною волею, забрел в ущелья и вывез Лавра на поляну, окруженную роскошной природой; Лавр очнулся, увидев хижину, подле которой сидел на толстом пне дерева старец в волосяной одежде — и

плакал как младенец.

Жалко стало Лавру старика; он спросил его о причине горя.

— Здесь стояло великое древо! — отвечал старик наречием, похожим на Русское. — Насадил его дед мой, тому назад двести лет; под тенью его часто сидел отец мой, жена и дочь моя; к нему сходились соседи плясать и петь песни; под ним привык отдыхать и я; оно было лучше людей: оно не требовало платы за тень свою!.. Оно было памятником, осенявшим могилу любимых мною... Пришли враги и срубили мое древо!

Плачевный голос старика был звучен.

С испугом выбежала из хижины девушка в белом *карсите*,^[140] с повязкою, усеянной серебряными кружками. Она бросилась к старцу, обняла его, что-то сказала ему нежно и обратила смущенный, недоверчивый взгляд на Лавра.

— Добрый старик! — вскричал Лавр. — Я заменю тебе твое любимое древо, я осенью твою старость!

Старик посмотрел с сожалением на Лавра.

— Внимай, юный брат, словам времени! — сказал он. — Если б рука моя опиралась на костыль, а не на это доброе существо, ты не давал бы необдуманного обета, ты не с той волею шел к нам, чтоб поселиться здесь. Есть у нас довольствие и мир, но у нас нет славы, которую вы ищете. Иди же, юноша, вперед, но не забудь, что есть две славы: есть слава, сеющая благо, насаждающая на земле древо мира, и другая, ложное солнце, изливающее не благодетельный свет, а жадный пламень. Иди, юноша, далее! Зачем хочешь ты обратить дочь мою в преграду, остановившую добрый порыв твой? Иди под кровом неба!

— Не отгоняй меня от себя, добрый старец! — вскричал Лавр. — Я проклял уже ту славу, у которой в руках только меч и огонь, а для всякой другой славы дочь твоя не преграда. Край ваш разорен, кроме неба и земли, в нем ничего не осталось, я поведу тебя на свою родину.

— Кроме неба и земли? — сказал старец. — Что ж нужно более для человека? Или не с кем бы было беседовать ему в уединении? Или не на что смотреть ему и нечему дивиться? А светила небесные? А голос всей природы, к которому так внимательно доброе сердце?.. А песни птиц, которые трогают, веселят, но не печалят души, как люди, своими жалобными звуками?.. А жаркие объятия солнца, а ласки прохлады, а труд, доставляющий сладость отдохновения?..

— Дивны слова твои, старец; я хочу остаться с тобою! Между тобой и дочерью твоею я буду жить как между небом и землею.

— Ты один в мире или есть на земле человек, которого ты можешь

назвать отцом?

— Отец?.. есть.

— Благословил ли он твою волю?

— Волю?.. Нет, он говорил, что у сына нет воли.

— Ты один у отца своего или есть и другие, которые имеют право на его ласки и попечения?

Лавр задумался.

— Ласки и попечения? — сказал он наконец. — Меня ласкал не отец, а старая добрая женщина, рабыня моего отца... Но она уже умерла.

Старик в свою очередь задумался.

— И ты хочешь непременно остаться здесь?

— Хочу, я ни от кого не слыхал таких речей, как от тебя, никого не видел лучше твоей дочери!.. Говорят: если кого полюбишь, без того нельзя жить, тот есть лучший друг в свете.

— Если не обманываешься ни в себе, ни в нем, — прибавил старик.

Лавр сел подле старика; солнце разожгло железный шлем его; он отер пот с лица и вздохнул.

Когда девушка взглянула ему в лицо, услышала вздох его, увидела, что он дружески сел подле отца ее, она вспыхнула радостью; недоверчивость и боязнь исчезли с лица ее; она кинулась быстро в хижину, вынесла оттуда сладкое питье, сделанное из сока плодов, и поднесла гостю.

Старик всматривался в лицо Лавра.

Из очей Лавра также покатались слезы.

Лавр остался у старика.

С каким радостным чувством встречал он и утро и Стано!

— Лаур, — сказал однажды старик, — ты любишь внуку мою, и Стано любит тебя, я отдам ее тебе... будешь ли ты беречь ее, как свою голову?

Лавр приложил руку к сердцу и к челу своему.

Старик призвал Стано, сложил руки юноши и девы, накрыл их головы полой своей одежды и обвел вокруг пня любимого своего дерева.

— Пройдите так весь круг жизни; да будет вам простор и на земле, и в одной могиле!

Для каждого понятна эта минута слияния двух жизней, двух душ в одну жизнь, в одну душу!

Проходят годы.

Лавр печален; часто Лавра нет дома; он уходит в горы. После долгих

ожиданий *Стано* ищет его и видит, что он сидит на вершине горы и глядит в ту сторону, где садится солнце. Даль необозрима.

— О чем твое горе? — спрашивает *Стано* Лавра. Он не отвечает.

— О чем твое горе? — повторяет она со слезами. Лавр не отвечает.

— О чем твое горе?.. Лавр! — молится *Стано* печальному Лавру.

— Не ведаю, — отвечает он. — Мне все постыло, не разлюбил я тебя, не разлюбил я отца твоего; но что-то манит меня туда... Когда взойду на эту высокую гору, меня так и тянет броситься с нее в реку, которая течет в Дон... Я бы взял тебя и отца твоего на плечи свои и бегом, стрелою пустился бы вон по тому пути, который теперь порос густой травой!

Стано заплакала.

— Иди домой, скажи это бабушке, — произнесла она сквозь слезы и повлекла Лавра за собою.

— Отец мой! — вскричала она еще издали, подходя к деду своему. — Слушай, что говорит Лавр; ему грустно, горько в наших краях!

— Знаю, — сказал старик, посадив Лавра подле себя. — И птица помнит небо, под которым оставила скорлупу, и она летит вить гнездо свое там же, где была вскормлена и вспоена отцом и матерью... Иди, Лавр, на родину! Возьми и свою *Стано*: без тебя ей не жить; а мне недолго смотреть на день; я и без вас прилягу головой к этому пню и усну крепко.

— Нет, отец! — сказал Лавр. — Не пойду! Не шути над моей душой!.. Ты мне дал *Стано*... да я не отниму ее у тебя!.. я останусь с тобой!

— Иди, Лавр, здесь нет для тебя спасенья от злой болезни, только родной воздух излечит тебя. Иди, не губи ни себя, ни *Стано*. Ты не видишь побледневшего лица своего и потухших очей; а я вижу их, и *Стано* видит их.

— Не иду, отец!

— Лавр, и я пойду с тобой; я хочу еще раз взглянуть на светлый мир.

Очи Лавра вспыхнули; он, казалось, ожил.

— Ты хочешь идти на мою родину?.. Она далеко! — произнес он опять печальным голосом. — Нет! мы останемся здесь!

— Лавр! за этой горой есть река: сруби на ней *насад*; ^[141] когда будет готов, ты и *Стано* пособи мне перейти гору; там сядем мы в *насад* и поедем вниз по реке до Дона, а там до моря и в твою землю.

Лавр обнял отца и *Стано*.

Через несколько дней *насад* был готов и наполнен припасами.

Старик упал подле дуба на колени, взглянул на небо и залился слезами.

— Прости, юдоль счастливая, моя родная юдоль! прости прах отцов и друзей моих!

— Нет, отец, мы не пойдем отсюда! — вскричал Лавр, тронутый слезами старика. — Я не разлучу тебя с родной землею!

— Идем, — сказал старик решительно, облокотись на Лавра и Стано, — не бойся, я не умру на чужой земле. Лавр! помоги мне идти.

Старик пошел; Лавр должен был исполнять волю его. Они перешли чрез гору молча; спустились с утеса. Приблизились к насаду.

— Пойдите, дети, — сказал старик, припав на колени и облобызав землю. — Лавр, возьми с собой моей родной земли, насыпь у кормы.

Лавр исполнил желание его, наносил в ладью земли. Старик, довольный, сел на насыпь. Стано села подле него; Лавр отчалил от берега, и по течению реки ладья потекла догонять волны, которые стремились в Тана.^[142] Река извивалась между крутыми берегами в горах Аланской земли.

— Уж во второй раз еду я по этой реке, — сказал старик. — С купцом Венедским Эсафатом ездил я рекою Тана, в озеро Азак, потом чрез *гирло Таманское* в море *Туманное*, что Греки зовут *Понт-Киммерион*, а Татары *Олу-Денгис*, то есть великое море. Был я и на твоей родине, Лавр; знаю я дорогу на Запад. Прежние отцы мои жили на берегах Дуная, прославленных Царем *Аттилою*, прадед мой *Славий*, роду Гуннского, ходил к Латынскому Воеводе Вельзару с Славянами да Антами на помощь против народов, живущих на полночь.

Так рассказывал старик Лавру повесть старых времен.

Чрез несколько дней открылись, в синеве, берега реки Тана и потом Греческий город *Танаис*, при устье реки. От сего города пустились они восточным берегом озера Азака, или Меотического, который усеян был Торговыми Вежами Греков.

При входе в *гирло Таманское* открылся им город Синда, а вскоре и Таматархан,^[143] покоренный Мстиславом, которому за *удальство* отец не дал наследства на Руси и сказал: "Ты *удатный*, даю я тебе *рать в наследство*, иди в *Тмутаракань*, отними Русское Княжество у Ясов и княжи там!"

Потом ехали они близ берегов Хазарии, коею овладели Венециане. Минули богатую Кафу, Алушту, дивились на гору *Шатер*,^[144] проехали Греческие города: Херонез и Помпею. Когда же приблизились они к большому заливу и *Тендре*, назван ной Греками *Ахиллесово поприще*, старик сказал: "Здесь отделимся от берега, здесь в *отоке*,^[145] называемом *Озу-Кыры*, то есть *Язское поле*, живут еще до сего времени разбойники *Печенеги*".

— Стано, вот моя родина, вот дом мой! посмотри на будущий счастливый приют наш!

Лавр обнял Стано, выскочил из *насада*, подбежал к дому. Незнакомые люди встретили его.

— Где отец мой? — вскричал он.

Толпа дворовых людей окружила его и, удивляясь странной одежде Лавра, сшитой из звериных кож, вдруг захохотала.

— Твой ойтец, сынку? — отвечали ему в один голос несколько человек. — Твой ойтец? Дал-Буг не веми... про то твоя майка знает. Ты, чуем, ловец блудный?

— Мой отец Боярин отчины, Савва Ивич Пута-Зарев, — сказал гордо Лавр.

Толпа еще громче захохотала.

— Дал-Буг не веми! оже чварты рок сидит здесь Пан Погорнин Вельмужный!

Лавр всплеснул руками от ужаса.

— Друзья! — вскричал он. — Скажите, где отец мой?

Прекрасная наружность и печаль, изобразившаяся на его челе, тронули всех. Один старик подошел к нему и сказал:

— В сей дедине юж нима твоего ойтца, Русский Князь Лев, с Галича, побит Крулем Лешкою з Кракова, и ся земе юж належе до Крулевства и Панства. А тутешни господаржи поздвижесе до Киева-града.

Слезы хлынули из глаз юноши, он воротился к ладье своей медленными шагами.

— Отец! Стано! — произнес он. — Я обманул вас, погубил вас, нам нет здесь приюта! Здесь нет моего отца!

— Он умер? — спросил старик, глубоко вздохнув.

— Нет, Ляхи овладели землею, все удалились отсюда бог ведает куда, говорят, к Киеву!

Стано обняла Лавра, отерла слезы его, но слезы катились и из ее глаз.

— Дети, — сказал старик, — не печальтесь, кто живет под небом, у того есть надежный кров!.. Солнце уже село, дети... ему уже не встать с запада... так и жизнь!.. Завтра, Лавр, ты пойдешь с своею Стано в родную землю, не оставаться же вам в чужой земле... моя со мною!.

А ты, отец мой? — вскричала Стано. Я? — отвечал старец. — Мне пора отдохнуть!. Дети, когда я усну, постелите мне ложе вот под этим деревом, на холме, оденьте меня этим покровом..

Старик показал на землю, насыпанную в *насаде*

— Отец мой! — вскричала *Стано*, убитая горестным чувством. — Что говоришь ты?

У Лавра из очей брызнули слезы

— Солнце за горою, пора успокоиться, дети пусти, *Ста* но... дай мне прочитать молитву на сон грядущий.

Старик обратился к востоку, стал на колени и про себя читал молитву: он просил у бога сна... вечного.

Кончив моление, он благословил Лавра и *Стано* и прилег на землю, насланную на *насаде*.

Лавр преклонил голову на руку; *Стано* преклонила голову свою на грудь Лавра и молчали — лаская усыпление старца. Долго сон бежал от них; но утомленные от слез очи смежились... и утреннее солнце осветило их сонных.

Наутро Лавр очнулся, вслед за ним очнулась и *Стано*. Старик спал еще, против обыкновения. В первый раз еще не встретил он восхода солнечного и не помолился. В первый раз не отвечал он благословением на утренний поцелуй *Стано*, в первый раз сердце его было холодно ко всему!

На левой стороне реки Дана-Стры, близ Студеницы, на скате берега, есть холм, на этом холме Стано на коленях склонила голову на насыпь свежей земли и обливала ее слезами.

Над ней стоял Лавр, как обессилевший старец, опустив руки и голову.

Казалось, что Стано и Лавр окаменели в этом положении.

На правом берегу реки Дана-Пры, близ *Вольного-Прага*, на скате, есть высокая могила. На этой могиле стоял иссеченный из дикого камня крест; облокотясь на этот крест, стоял Лавр, один, мрачный, бледный; сердце его было полно слез, очи сухи.

Настал 1320 год. В Галиче сидел на престоле Князь Андрей Юрьевич, во Владимире Волынском Лев, брат его. В Киеве, совершенно разоренном набегами Татар и зависевшем от Князя Галицкого, властвовал Станислав.

Русские князья, бывши в зависимости от Татар, сносили иго их терпеливо; но не равнодушно смотрели на замыслы и на распространявшееся могущество Гедимина Литовского. Во время войны его с Немцами Русские Князья, Андрей и Лев, напали на области Литовские, опустошили берега Вилии. Но Гедимин отмстил; помощь Татарская не помогла. Владимир и Луцк взяты. Позднее время остановило Гедимина. На следующий год он приблизился к Киеву, и Станислав, не участвовавший в восстании Льва и Андрея и подкрепляемый единственно Татарами, вздумал обороняться; но, бессильный, он принужден был бежать и предать Киев Литовцам.

Во время сей войны, несчастной по несогласиям Князей Русских для Южной России, Лавр служил под знаменами Князя Льва Владимирского.

Искупив Княжество свое почти порабощением Гедимину, Лев умер в 1324 году, оставив наследником сына своего, мудрого *Георгия*, под власть коего поступило и Княжение Галицкое, после дяди его, Князя Андрея Юрьевича, и область Киевская. Он был последнею отраслью власти Русской над Южною Россиею. С ним кончилась и повесть о славе ее.

Устарелый Лавр в награду за службу свою одарен был от Георгия богатою отчиной на берегах Днепра. *Погост Облазна* с деревнями заменил ему наследственную Днестровскую отчину.

На шестидесятом году от роду, невзлюбив одиночества и желая иметь наследника, Лавр обрек себя в стражи непорочности прекрасной пятнадцатилетней девушки. Принятый им на себя труд вознаграждался в

скором времени рождением сына Олея Лавровича.

Олею Лавровичу было уже двадцать пять лет от роду, когда дряхлый отец его, желая купить чресполосную землю у соседа, никак не сходилась с ним в цене и потому женил своего сына на соседской дочери Мине Ольговне с тем, чтоб кусок чресполосной земли поступил в приданое.

После сего важного приобретения Лавр успокоился, а у Олея Лавровича родился через три года сын Ива Олелькович, названный Ивою в память своего прапрадеда Ивы, совершившего в 40 лет хождение во Иерусалим.

Этот-то Ива Олелькович есть тот барич, о котором мы ведем речь; он-то тот Русский витязь и сильный могучий богатырь, которого подвиги до сего времени гибли в неизвестности.

VI

Итак, читатель, верно, помнит, как наш барич Ива Олелькович ехал по селу *Облазне* верхом на крестьянине Юрке с сукроем медовика в одной руке, с вожжами и бичом в другой.

Все село дивилось ему и кланялось; деревенские ребяташки высыпали на улицу и в подражанье баричу также взнуздывали и седлали друг друга; работники забывали свои костыги, топоры, жигала, струги, скобели; женщины бросали сечки, ухваты, сковороды и горшки; красные девушки свои веретены и прялки; старики и старухи оставляли обыкновенный свой приют: печь, палаты и голбец; ^[151] все торопились смотреть на барича; кокошники и гладенькие головки красных девушек то высывались, то прятались в волоковых окнах, ^[152] смотря по приближению и отдалению предмета их любопытства и страха.

Для всех весел был поезд Ивы, кроме отцов и матерей коня Юрки и колесницы Ионки: склонив свои головы на ладонь, они стояли пригорюнясь и сквозь слезы голосили:

Ох ты, наш батюшка, наше детище!
Наше детище Юрка Янович!
Ох недаром ты, словно резвый конь, вскинул голову!
Бьешь копытами о сыру землю!
Загоняет тебя, позамучает лихой барчинок!
Вот уж три конца дал по улице,
Надорвет тебя, перебьет крестец:
Ох ты, батюшка, наш родной сынок!

Читатели не удивятся подобными материнскими чувствами, если узнают, что Ива имел все свойства древних богатырей. Он недаром слышал от Лазаря-конюха сказку про богатыря Усму, который одним ударом палицы губил по сту тысяч душ, ломал руки и ноги всем, кто с ним в бой вступал, бил наповал встречных и поперечных.

Ива был грозным подражателем богатыря Усмы. От него никому не было прохода; с словами: "О о о о о! нечистого духа слыхом не слышать, видом не видать, вдруг нечистый дух проявился на родной Руси!" — Ива внезапно насккивал из-за угла на прохожих слуг, на челядь и поселян, на

телят, на гусей, на свиной, на овец и, по его выражению, гвоздил здоровым кулаком.

Не было суда на Иву, родная его матушка восставала против жалобников словами: "Позабавиться детищу нельзя! Великое горе — желвак под глазом! Лихая беда — нога свихнулась!.."

Таким образом проходил день за днем, а Ива час от часу становился заносчивее, задорнее, сильнее, вольнее, смелее. Последнюю материнскую власть над собою он сбросил решительностью своею — идти за тридевять земель, в тридешатое? царство, искать себе жену Царевну, у которой во лбу светлый месяц, в косе вплетены ясные звезды, вместо глаз многоцветные камни, на ланитах румяная заря, у которой тело как пух лебединый, душа жемчужная, в жилках переливается разноцветный бисер, а одежда вся из золота. Напрасно уверяла его родительница, что это небылица в лицах; пестуну своему Тиру, и конюху Лазарю-сказочнику, и мамке Иловне верил он больше всех; а они сказали ему, что это *правда крещеная*.

С трудом удержала матушка стремление его к подвигам богатырским и к славе обещанием не мешать ему вести жизнь богатырскую хоть в своем родном селении. С этих пор Ива стал для всего села как немилость божия: кого за руку — руку выломит, кого за ногу — ногу вывернет, кого за голову — голова на сторону, и стало все село сухоруких, хромоногих, кривошеих думу думать и решили: поведать горе своему честному отцу иерею мниху Симону Афонских гор и просить у него молитвы, помощи и совета: как сбыть с себя лихую беду неминуемую.

Несут они ему на поклон бочку пива ячного, *стопу* меду, 3 меры жита, десять без двух калачей, два *погача* на маковом масле, без двух два девяносто *долгей*, гонят к нему яловицу, двух овнов, тащат пшена 5 уборков, соли 5 *гол жажн*, 2 ведра солоду, 2 *полоти*.^[153]

Честный иерей Симон благословил прихожан своих, принял поклоны, выслушал речи их, погладил себе бороду и задумался. Трудно было ему давать совет против сельского Боярина, на чьей земле он сам жил и за кого бога молил, хотя событие было в то время, когда *еще правда утверждала мир, а разлюбье на сторону отвергала* и когда установила она платить за увечье по 5 гривен серебра пенязями, за вышибенный зуб 3 гривны, за удар палицею, батогом или чем попало полгривны, а иногда и пол-полгривны, за рубезж^[154] пол-полгривны; а еще будут битися межи собою меци или сулицами, Князю то ненадобе и правят сами по своему Суду:

Но надумался наконец честный иерей мних Симон из Афонских гор.

— Идите с богом в сени свои, — сказал он им, — молитесь святым

угодникам за святую Русь, за всех православных крестьян, за Боярыню свою и за барича Иву Олельковича, да внушит ему господь бог благий разум, кротость душевную и сердолобие, а я помолюсь за вас, наложу на себя эпитимию, уйму наваждение бесовской силы на родного сына госпожи нашей.

Селяне ушли в надежде на бога и на честного иерея мниха Симона; а Симон призадумался.

Это все происходило в то время, когда *Восточной Агарянской страны безбожный Царь именем Мамай, Еллин родом, верою Идолжец, начал быти палим дьяволом, ратовать на Христианство и поднимать на святую Русь своих Упатов,*^[155] *Князей, Алпатов и Уланов.*

Вся Русь становилась под знамена Великого Князя Дмитрия Московского; только Олег Рязанский, ненавистник его, *сорёкся*^[156] с Ягайлом Литовским и послал навстречу Мамаю *дары многочисственные и книги писаны.*^[157]

Покуда Князь Дмитрий Иоаннович с братом своим Князем Владимиром и со всеми Русскими Князьями и Воеводами уставляли твердую стражу и посылали на сторожу юношей Родиона Ржевского, Якова Усатова^[158] и Василия Тупика, с тем чтобы они ехали близ Орды до быстрой Сосны и добыли языка Агарянского, покуда Мамай ждал осени, чтоб прийти на Русские хлеба, разосланные Великим Князем грамоты по всем городам, *"да будут готовы на брань, и да собираются на Коломну биться с безбожными Агарянами"*, дошли и до Киева.

Сия весть дошла посредством церковного служителя, ходившего в Киев за миром, и до отца мниха Симона; он хотел воспользоваться ею. Зная воинственный дух барича; Ивы, он хотел внушить ему мысль: идти изведать свои силы молодецкия с Мамаем, напиться из Дона или положить свою голову в битве, ибо Симон знал, что самая худая часть человека, похожего на Иву, есть голова.

Он знал, что Ива никаких речей не внимал, кроме Сказок, до которых был неутомимый охотник, и потому пестун Тир, хмельный мед и сладкий *погач* были употреблены в дело. И вот, в одно красное утро, барич Ива садится за браным столом у иерея Симона из Афонских гор, ломает ковригу на части и, выкраивая из нее острыми своими зубами полукружия величиной в полумесяц, внимательно смотрит на огромную книгу, кою вооружается отец Симон.

— Ага? — говорит он, показывая на книгу.

— От, се она, государь барич, — отвечает ему Тир, — Сказка

письменная.

— Письменная? говори богатырскую! — вскричал Ива, уложив в рот последний кусок *погача* и вставая с места.

— Богатырская, богатырская! — подхватил отец Симон. — Про Самсона.

— Ведаю! — вскричал Ива нетерпеливо.

— Выбирай сам, господин барич: в книге сей, глаголемой *Хронографов о временах и людех*, много есть сказаний про богатырей и витязей, про Царей, Князей и великих мужей, про Царя Македонского, про Кощея бессмертного, про Нелюбу-Царевну и Жар-птицу...

— Про Царевну ведаю, про Жар-птицу ведаю, про Кощея бессмертного не ведаю, говори!

Раскрывает честный иерей огромную книгу, глаголемую *Хронограф*, кашляет и произносит громогласно:

КОЩЕЙ...

— Ну! — говорит Ива Олелькович.

Иерей Симон читает:

— "Чему братие смута и хмара, чему обурились Князи, владыки и друзи и вси осудари?

Аль в недра запала недобрая дума? своя то печаль аль чужая кручина?

Покинем печаловать, братие; жизнь есть поток, источающий сладость и горькость! древо, дающее смоквы и грозди волчицы.

Велик есть корабль; жестоки суть ветры; а малый кормилец справляет на путь благодейный.

Ведаю я: прыснет море, расходится буря и долго не тихнет.

Восплачет мал детеек и долго не молкнет.

Поборем терпеньем своим искушение злое.

Под Буговым небом красно и любовно!

Свет светов дал малым малютам калач да ковригу, да пряные хлебцы.

А юношам красным и девам дал сердца потеху — *смиление* да песни.

А старым, худым и небогим дал хмелю, да розмысл, да добрую память, да красное слово на радость.

Внемлите же, братие! РаSTRUшу речами с души вам студеное

горе!

Почну вам былину, поведаю повесть смысленую, хвальную, древнюю правду".

— Сумбур Татарский! — сказал сердито Ива.

— Напереди растут богатыри! — отвечал ему тихо Тир. Ива умолк.

Отец Симон продолжал:

— "В лето 5953-е от создания мира, жило на земли племя Руса, Яфетова внука, по Теплому морю, и были соседи его: от Востока поганые Агаряне, Ахазыры; с полночи и с вечера различные Немцы, именуемые Готфы; от Запада Войники Ромыне; от Юга хитрые мудрецы Греки, в земли Еллинской.

И были ветви племени Руса: Геты, Анты, Бессарины, Росланы, Сербы, Хорваты, Невры, а от сих: Чехи, Северяне, Кривичи, Поляне, Бужане, Тиверцы и иные многие..."

— То все богатыри? — спросил Ива.

— Богатыри, — отвечал честный иерей Симон и продолжал: — "И были между Росланами четыре юноши красного владычного рода: Словен, Волх, Кощей и Хорев. Жили они у Князя Осмомысла жильцами. Горьки стали им чужие хлебы и жизнь без воли, без битвы. Задумали они повоевать славы, погулять, походить по земным краинам и поискать себе чести и власти и места по сердцу.

— Что деем здесь? — сказал старший из них, Волх. — Или жильцами нам век вековать? или без милости нам не житье в белом свете? или на земле только и места, что наши станы, торги и вежи?

— На то ль говорили нам добрые люди про дальние страны, чтоб мы подивились речам их как сидни?

Про дальние страны, где все дышит воздухом сладким, где молятся небу, где чудны древа, где дивные зелья растут без посева, где звери велики, а в рыбах течет кровь золотая? И есть там рогатые люди Сатиры и витязи с конским хребтом и ногами...

— Едем, братья, за Окиян! — вскричали прочие. — Позрим на чужое золото и серебро, на столы и одры!.. Отведаем братны заморской, добудем коней иноземных!

Закрутив торченые усы, Волх продолжал:

— Всему есть время: мудрости умаление, мужеству неможение, существу тление, свету тьма! Погинем ли жизнью в пустыне? утратим ли младость в бесславье? или дождемся, покуда безвременье^[159] всех нас

потопит в глубокую полночь? *Раднее*^[160] мне прахом носиться по белому свету, чем жить как *невеголь* сидень! Раднее питаться *младичием дубным*,^[161] чем сладким куском и медвяным питьем в чужой сени!

— Едем, братья, за Окиян! — вскричали все. — Едем себя показать и людей посмотреть!

И вот добрые молодцы, четыре удатные *по-брата*,^[162] в знак любовного братства и вечной приязни поклявшись жить неразлучно и нераздельно, тайно оставили двор Княжеский, взвалили на плеча первого быка, который попался навстречу, и понесли его в *Даждьбугов* лес, находившийся близ Реки на мысе, между впадением в *Теплое море*^[163] святых рек *Буга* и *Дана-Пра*.

Там было великое капище *Даждьбуга*, изгнавшего из сих мест Ионийскую *Цереру* и завладевшего ее храмом.

Взбросив на *обет*^[164] вола, они вонзили мечи свои в землю, а жрец, в белой власянице, обратился к ним и произнес:

— Речите слово, духов завет, целым умом, живите за один, держите друг друга в братстве, и любви, и во чти и держите общину: и ты, старый Волх, и ты, постарший Словен, и ты, младший Хорев, и ты, помладший Кощей, везде и во всем до живота...

После сих слов жрец *Даждьбуга* взял с них *роту*^[165] жить без раздела и держать слово твердо.

После сего каждый порубил свою руку мечом, истекшую кровь жрец влил в чашу вина, и они испили из оной, потом посыпали на глаза себе земли, и, кончив обет мечным целованием, Волх, Словен, Хорев и Кощей искупались в Священном Буге, пошли в Княжеский табун, накинули петли на четырех коней, вскочили на них и пустились оленьим скоком, как тать от погони.

Им нужна дорога за море Окиян, да спросить некого.

Потрясая сырой бор. Как орлы, распустив долгие крылья, летят в высоту, так Словен, Волх, Кощей и Хорев несутся от моря в пространные степи, скачут чрез *Русские власти*,^[166] скачут полем, высокой травой, рассыпными песками, скачут от дола к долу, от горы к горе, от леса к лесу.

Вот закурилась даль ранним туманом, благодейное утро разлилось по небу.

Вот солнце пробежало полудень и от полудня склонилось на вечер; удатные молодцы скачут.

Таким образом ехали они скоро ли, долго ли, а приехали в великую дебрь, на *росстань*.^[167] Дорога разделилась на три пути.

При начале каждого пути были три высокие могилы, и на каждой могиле стоял камень, и были вырезаны на камнях слова; но братаничи не умели читать.

Куда путь держать? направо ли, налево ли, прямо ли?

Пораздумались добрые молодцы, стали совет держать и решили: трем ехать врозь, проведать дорогу, а четвертому ждать возврата прочих на *росстани*.

Бросили жеребьи, и досталось сидеть на *росстани*. Волху, Кощею ехать по левому пути на вечер, Словену по среднему на полдень, а Хореву на солнечный восход. И условились они воротиться на другой день к вечеру. А сроку положили ждать каждого три дни и три ночи.

— Чур, братья, не медлить: на три дни есть у меня запаса, а терпенья на три лета. Долее ждать не буду, а мстить до конечного дня!

Словен, Хорев и Кощей поклялись ему воротиться к *дореченому*^[168] дню, приехать на третье солнце на *чек*.

Условились, простились, разъехались.

Проходит день, другой, настает третье солнце; сидит Волх на *росстани*, ждет возврата братьев своих; да братья не едут. Вот свет уж подернулся тьмою, и ветры, Стрибоговы внуки, взбурились, печальную песню гудят по дуплам. В чистом поле не видно ни птицы пролетной, ни зверя прыскачеге; ждет, подождет Волх побратьев своих — не едут.

Вот и тьма на свет налегла и *тихость* настала; соловей прощелкал последнюю песню; ласточка прощebetала привет темной ночи; проворковала горлица, и вот уже только вдали, и то изредка, кукует о детях одинокая, горемычная, бездомная кукушка.

Не едут.

— Чтоб вы горькой и бедной смерти предали души свои! — сказал Волх с досады, зевнул, преклонил голову свою на кочку и заснул крепким сном.

Наутро вдали раздался конский топот: конь Волха почуял, верно, знакомых, приподнял голову, оглянулся направо и заржал.

Вскочил Волх, очнулся, протирает глаза.

— Ну, друг, заждался! — сказал он проезжему мимо всаднику. Но вместо ответа коснулись до чуткого его слуха дикие звуки песни:

Маштанэ кюбэнь уласшыгэ, Малпшгэ джыгэ...

— Э, гэ, гэ! да это не Хорев, и не Кощей, и не Словен! в ушатой шапке, в волчьем кожухе!..

Не успел Волх разглядеть всадника, как тот, увидев лихого коня, который пасся в стороне на лугу, подскакал к нему, накинул на него петлю

и понесся по *правому пути!*

Вздригнуло сердце у Волха; пеший за конным не погоня. Но Волх догадлив: скоро схватил он лук и тул свой, тетива звякнула, стрела взвизгнула и понеслась в погоню.

Другая, третья, четвертая зашипели вслед за первой, и вот одна из них перерезала волосяной аркан, на котором всадник влек за собой Волхова коня, а прочие три впились в спину дневного вора, как осы, и прососали ее до крови; но он скакал без оглядки; оставшийся на месте конь огляделся, заржал и понесся к своему господину. Волх гладит, нежит, целует своего коня.

— Сова! неясать! поганый Комань! тать оли бес, отколе взялся! Лечь бы тебе, абы не дрогнуло сердце от жалости, что конь в чужих руках!

Конь как будто понял слова Волха, заржал снова, затоптал ногами.

Волх успокоился. Но утоление одного горя напоминает о другом.

Братаны не едут, и пищи мало.

Проходит третий день, терпение обращается в досаду; проходит еще день, еще день и еще день, досада обращается в тоску; проходит еще день, другой, третий, четвертый, тоска обращается в исступление, потом в ярость, потом в проклятия, потом в жажду мщения. И вот Волх дает себе клятву ждать братьев на *росстани* три года и три дни, а мстить им по конечный день.

Голод погубил бы его в продолжение столь долгого времени ожидания; но судьба помогает Волху, хоть с горем пополам.

Натягивает Волх с досады тугой лук свой, накладывает на шелковую тетиву заветную отцовскую стрелу; прогудела тетива, стрела запела и понеслась под небо.

Летит под облаками как зелень зеленая птица.

Стрела вонзилась в крыло ей и упала с добычею к ногам Волха.

— Здорово-ста, дурень, бестолковый бабень! — говорит птица человеческим голосом. — Не щипли мне перьев, не гожусь я в пищу, — продолжает она, — отпусти на волю, дам богатый выкуп!

— Хорошо, — отвечает Волх.

— Возьми хвост мой длинный, возьми в обе руки, я взмахну крылами, а ты вдруг зажмурься и тяни смелее.

— Ну!

— Ну, прощай же, дурень, бестолковый бабень, береги хвост птичий ты себе на память!

Волх оглянулся: в руках его остались зеленые перья из хвоста как зелень зеленой птицы, а ее уж и духу не стало.

— Добро! — сказал Волх. — Два раза обманут, в третий не проведут!
На осьмой день показался на пути обоз торговецкий. Взмолился Волх барышникам о милостыне.

— Стыдно тебе, доброму молодцу, просить милостыню! — отвечали они. — Есть у тебя добрый конь, в налучине лук разрывчатый, в туле каленые стрелы, на плечах кованые доспехи, при бедре булатный меч, на голове железный шлем, было бы у тебя все, чем добывают почести и богатство, да, верно, нет у тебя богатырской силы да Русского духа! Нет же тебе ничего! Если хочешь пить и есть, продавай коня!

Горьки были упреки Волху, вздохнул он и расстался с конем, променяв его на хлеб и соль.

Поехали купцы своим путем-дорогою, а Волх опять сидит на *росстани*. "Что ж, — думает он, — сидеть бездомным хозяином! Выстрою себе балаган из хворосту". И выстроил на средней могиле балаган из хворосту.

Проходят новые дни, проходят недели, месяцы. Братья не едут. И стал Волх от скуки приманивать птиц перелетных, черных воронов и сорок-трещоток.

Слетаются к нему в гости, на покормку, *черные вороны, сизые галицы, трескучие сороки и простокрыльные, и великокрыльные, и аэропарные, борзые на летание в ширинах воздушных, и сыроядцы, и птицы певчие малы перием и худы телесы, различно возглашающие соловьи, брегории, синицы, и дрозды, и коростели.*

"Говорят же птицы по-людскому, для чего ж не учиться мне языку птичьему?" — думает Волх; садится у входа балагана и вслушивается в свист, в треск, в карканье.

Всех больше нравится ему наречие воронов: гордо, важно, как Арабский язык, сильно, разумно, как людская речь, и вот разлагает Волх тонические, основные звуки: *кры, кру, кра, кре, кро!* и сокращенные *кге, кгу, кго!* и слияние и смещение звуков *кыр-у-у-у! кга, крр!* и начинает понимать птичьи речи, рассказы про полет туда-сюда, похвальбу про острые когти, про быстрые крылья, про крепкие клювы

Только и радости у Волха, что послушать птичьих рассказов; любопытнее они речей людских

Вот чего однажды наслушался Волх.

— Здорово, приятели! — сказал старый тутошный ворон. — Давно не видались! Чай, солнце раз триста слетало в краины мирские, с тех пор как расстались?

— Здорово! — ему отвечали все прочие. — Стар стал, приятель! из

черного сделался бел, словно лунь!^[169]

— Что делать, и житье от людей, и житья нет! Верите ли, сизые братцы, в них, верно, злой дух поселился: ходят стадами да бьются на кровь, гоняют друг друга по свету! Оно бы для нас и раздолье, да и нам не дают они спуску лишь только присядешь на труп да нос порасчистишь, чтоб череп проклюнуть да сладкого мозгу отведать, глядишь, а стрела и шипит над тобою! Хуже всех белые! От черных житья нет зверям, а от белых ни зверю, ни нашему брату, ни тле поганой, все бьют наповал! Зато уж теперь и на них черный день!

— *Корру!* послушаем! — сказали все прочие вороны.

— Между ними завелся Аттила; кажись, невелика птица, да ноготь востер. И прозвал он себя посланником бога. Создателя мира, и казнь неверных, поклонников земли, а не небу. Каркает он всех, кто молится людям, дереву камням, скотам или нашему брату...

— Злодей! — вскричала вся стая воронов. — Ядовитое жало стрелы! нож-губитель! он поселит в людях неуважение и к орлам, и к белым воронам!

— То же говорят и люди, которые не знают его, и они называют его *бичом* и *молотом* небесным, да он мало об этом заботится; говорит: кто узнает меня, тот полюбит. Мне, говорит он, не нужно мирского богатства; мой *стол* там, где сяду, дворец мой пространен: вход в него там, где солнце восходит; из полуночного окна видно *Студеное море*; с вечерней стороны Океан; с восточной Тавр; с полуденной Эмос; но я пристрою его, говорит, чтоб видеть со всех четырех сторон конец мира!

Все вороны захлопали от удивления крыльями.

Белый ворон продолжал:

— Я летел вслед за ним и устал... Шутка ли облететь вею землю!.. Передовые его уже близко отсюда; ведет их Хорев, полководец Аттилы...

"Хорев!" — сказал про себя Волх и слушал, что дальше. Но вороны заговорили все вдруг; Волх не лонял; скоро утихли, черед пришел рассказывать свои похождения другому.

— А я, — сказал ворон с отбитой ногой, — до сей поры жил я в *Дербень-Урюте*, на горе *Богде*, где жили и два святые мужа: Анук и Казый. Когда *Элеты*, разбитые *Хинами*, принуждены были оставить свою землю, два святые мужа также оставили Богду и пустились в отдаленную *Кокнюр*; но на дороге стало жаль им горы, в которой прожили они более ста лет; воротясь ночью, они похитили ее, взвалили на плеча и бежали, но Хины скоро хватились горы, послали погоню. Анук и Казый, устав бежать с огромной громадой, принуждены были бросить ее посреди Рифейской

степи. Во время похищения я спал на гнезде своем: вместе с горой они унесли и меня; я очнулся в то время, как брошенная гора грохнулась о степь. Тут-то я лишился правой ноги, и теперь, с горя, друзья, я мечусь по белому свету, ищу костыля, да не знаю, найду ли?

Вороны закаркали в изъявление сожаления о товарище, лишенном ноги.

По очереди начал рассказывать свои похождения третий ворон!

— Чудные вещи делают люди! Я жил у озера Мойска, ^[170] на высоком холме, на столетнем дубу, при мне он и вырос. Вздумалось мне, на беду, прошлого *ярой* пролететься в Рифейские горы, поклониться белому беркуту. Вот и исполнил свой долг и принес ему три колоса пшеничных на поклон; потом пустился назад. Прилетаю на холм свой... что ж, братцы! вот правду поют наши птицы: *оставишь гнездо, не пожалуйся после!* Как я посмотрел на мой дуб, так крылья мои и опали! Какой-то Словен пришел к Мойску от *Теплого моря* да вздумал мудрить и срубил там город, а на холме моем строит *сень*; моему родному дубу обрубил все ветви без двух, да и сделал из него истукана Перуна, какого случалось вам видеть не раз по лесам и по холмам высоким. На вершину наткнули кованную из серебра голову, золотую бороду и *Ус-злат* — в две необрубленные ветви натыкали стрел да копий; вместо глаз вставили два красные, камня; обвесили всего чешуею железной и завесами из *синеты*, *червленицы* и багра. ^[171] Теперь над ним капище Строят, ставят *шпону* дверную ^[172] из литого серебра; а стены, затворы, столбы из черного дерева, и жертвенник медью обложен; *стоялы* ^[173] из пестрого камня.

Теперь я, друзья, лечу поискать себе нового дуба по сердцу, с сенью густою, чтоб свить мне гнездо да своей завестися вороной. Посоветуйте, где бы найти мне местечко получше?

— Бог весть, — сказал один ворон. — Есть чудное дерево близ Днепра; да в страшном месте растет, близ жилья людской нугалы Бабы-Яги...

— Э, ничего! я пугал не слишком боюсь! Скажи же, друг, где это место?

— Да, вот уж я кстати про диво вам всем расскажу. Видали ли вы, встречали ли, братцы, вы Чудо-Юду, который скитается по свету вот уже ровно теперь четыре столетья с десятками лет и смерть все ищет себе? Ну, подлинно бедный! Хоть он и породы людской, но жалок ужасно! Однажды сижу я на дереве, во сто размахов крыла от земли, подле Днепра, близ *Неясыти* порога, где на каменном острове, под скалою подводной, есть

ходы в подземное царство, откуда выходит Баба-Яга. Вот сижу я, вдруг вижу, идет что-то страшное, точно как пугало в Княжеском саду! длинный шест с перекладной, на перекладине развешена иссохшая кожа! Я было тронулся с места, да вижу, что пугало очень смиренно завело такую речь:

— Истлел я! иссох я! устал я скитаться и жить утомился! Присел бы, прилег бы, да нет на земле мне ни отдыха, нет мне ни сна, ни могилы! В чужую могилу забрался бы я — не пускают! сесть — ноги не гнутся, иссохли составы и жилы! прилечь — не могу; словно дуб остаревший, не гнусь я к земле!

Проходят столетия, ищу себе гроба, прошу я у добрых людей себе смерти... Так жаль, не дают! У хищных зверей и у птиц — и те не дают мне, а сами летят и бегут от меня как от смерти!

Чувствую голод, и холод, и жажду... что ж? мне ни поесть, ни испить, ни погреться порядком!

В огромном моем кошеле один только сребреник вечный, а что в нем!.. Вот двести уже лет, как не ходит нигде: не берут за *динарий* у Римлян, а здесь не берут за *долею*, что в том, что в кошель он обратно приходит!.. О! скоро ль настанет то время, когда придется на смену мне новый проклятый? Я слышал, что здесь, на Днепро-Волжских порогах, живет Баба-Яга, колдунья! Погадаю у ней! Вот и пороги! Кого бы спросить про нее?

Так говорил Чудо-Юда. Лишь кончил он речь, вдруг из *Неясытской* скалы показалась Баба-Яга, в ступе огромной, с пестом, с помелом, вся в лохмотьях!

— Фу! — закричала она. — Не русским здесь Духом запахло! — и прямо к нему. — Эй! кто ты, скиталец! отколе? зачем, где твой конь? Не хочешь ли сесть в мою ступу, со мной прокатиться?

— Эх, баушка, я богатырь Чудо-Юда, — отвечал он ей. — К тебе я пришел на поклон, хочу погадать да проведать судьбину, вот баушка, *пенязь* вперед.

— Голубчик, у нас этой дряни довольно; давай, если хочешь, мне золота — даром гадать Не умею!

— Старая ведьма! гадай, или голову к черту!

— Эгэ, расхрабрился! — вскричала Яга, и давай Юду бить железным пестом.

А Юда выхватил меч да и рубит старуху. Что ж, братцы! ни тот, ни другая не охнут! лишь кости об кости стучат да оружие звучит!

— Тьфу ты, проклятый! я, верно, хмельная! дерусь с сновиденьем! — вскричала Яга и пустилася в ступе чрез поле и горы!

— Увы мне! — возопил Чудо-Юда и бросился в Дана-Пры, а вихрь,

откуда ни взялся, вынес его из реки и поставил на берег!

А я со страху лететь да лететь! лишь в Киеве-граде едва отдохнул.

— Чудо! — вскричали все вороны в голос. — А Киев-то где?

— Да вы, чай, слышали про город *Самват*,^[174] ну, он же и Киев! Какой-то сидит там Кощей... раздолье! люди у него ни по чем! то-то крови!

— Кощей! — вскричал Волх.

Вороны испугались, вспорхнули и разлетелись по деревьям.

Волх рад был, что узнал о своих братьях; нетерпеливо ждал он времени, в которое можно ему будет отправиться к ним и напомнить о Волхе, забытом на *росстани*.

Немного уже остается ему ждать; но запас его опять выходит. Уж он променял на хлеб меч-кладенец, *засапожник*,^[175] кованный золотом, молот железный, топор двухлезвийный и палицу с набивными кремнями; остались у него только лук и стрелы; а сидеть только семь дней до срока.

Вот, решившись отдать за хлеб и последнее оружие, он с горя приманил последними крохами стаю воронов, пролетающую мимо.

Уселись около него черные вороны, клюют да похваляют сладкие остатки хлеба. Наелись, насытились, разгулялись, и начали они между собою такую речь вести.

— Эх, кабы мне его руки! — сказал один седой ворон, взмахнув крылами. — Отдал бы я за них и крылья свои!

— Что ж бы ты делал руками? — спросила седого ворона вся стая!

— А вот что стал бы я делать: есть у него в туле заветная стрела, узнал я ее по перьям да по полету тому три года назад, когда пустил он ее под небо за птицей как зелень зеленой, которая улетела из терема Княгини Желаны, Словеновой жены...

— Кр! — вскричала вся стая воронов и обступила седого.

"Ну, ну!" — произнес Волх про себя.

— Пустить бы ему эту стрелу в румяное облачко, что часто в заутрие видно на самом восходе, да сказать: "Полети-тко, стрела, подстреги-тко ее, принеси-тко ко мне!" — и пала бы к его ногам птица морская белая баба.

— Кр! — вскричали удивленные вороны.

— Вот взял бы он ее за пуховые крылья да потребовал бы от нее: *силы сильной, воли вольной, чести честной да перо-невидимку...*

— Ну, ну! — вскричал Волх.

Черные вороны испугались его восклицания и улетели. Только он их и видел; но Волх воспользовался советами седого ворона.

Приложил он заветную усовую стрелу с орлиными перьями, с золотым

копьем к тетиве, произнес: "Полети-тко, стрела, подстрели-тко ее, принеси-тко ко мне!" Стрела взвизгнула. Дело было на рассвете; огненная струйка, след полета, протянулась по воздуху до самого румяного облачка на востоке.

Птица баба морская с пробитым стрелою крылом упала к ногам Волха.

— Не погуби души! — раздался охрипый голос из зоба. — Что хочешь требуй, только отпусти меня к морю!

— Дай мне силу сильную, волю вольную, да честь честную, да перо-невидимку! — сказал Волх.

— Перо-невидимку возьми; оно у меня в хохолке, стоит яловцом, а всего прочего у меня нет с собою.

— Где хочешь возьми! — отвечал Волх. — А не то выщиплю все перья, изжарю и съем: я голоден!

— Силу сильную соберу кое-как, составлю хоть из солнечного света; волю вольную из лунного, а честь честная в вихре Океан-моря —пустишь меня, принесу; непустишь, что хочешь твори со мной: не исполнится воля твоя!

Волх согласился, выдернул из хохолка птицы бабы перышко-невидимку и потом ждал, куда стало садиться солнце и показалась луна. Птица баба, обернувшись старухой, отделила один солнечный луч и один лунный; начала мотать их на руку; потом сняла с руки моток светлых ниток и давай вязать из них пояс.

Через несколько минут пояс был готов.

— Вот возьми, подпояшься им, будешь могущ, что пожелаешь, все будет по-твоему, только стоит тебе подтянуться покрепче да завязать концы крест-на-крест.

— Когда же доставишь мне честь честную? — спросил Волх.

— Хоть сей час же, только выпусти меня из рук. Не веришь, возьми в залог золотое яичко — прокатишь, приют и прислуга и угощение, все будет без платы.

Волх посмотрел на золотое яичко, которое птица баба снесла ему на руку, подумал, поверил, пустил. Птица баба взмахнула крылами, схватила клювом стрелу заветную, лежавшую на земле, вспорхнула и понеслась.

— Прощай, Волх! Вперед не верь птицам бабам! Довольно с тебя, друг, и силы и воли с придачей. Только чести недостает, может, и без нее обойдешься: не хлеб!

Волх заскрежетал зубами с досады; но скоро успокоился.

— Увы вам! — говорил он про себя. — Примирюсь, братаны, с вами, когда камень всплывет, а хмель потонет! Прежде всего отправлюсь по

правому пути, найду Хорева, потом отправлюсь по среднему, посмотрю на Словена; потом пушусь по левому пути, узнать, подобру ли, поздорову живет Кощей. Всем вам будет спасибо за добрую память!

С этими словами Волх пускается скорыми шагами по правой дороге; он забыл голод и жажду; у него в голове одно мщенье.

Торопится он. Знойное солнце палит его; с сердцем оттирает он пот с лица; усталость давит его скалою; он проклиная усталость; ноги его подкосились.

— Ух! — восклицает наконец Волх и падает под развесистой липой. — Ну, добрые люди, названные братья! утомили вы мою душу!

Когда уже прохлада вечерняя навеяла на Волха новые силы и первый порыв мщенья утих, когда уже голод и жажда стали в свою очередь напоминать ему о своих потребностях, тогда только Волх вспомнил, что он может держать путь, ходить и ездить без усталости, может не ведать нужды, не знать голода и жажды, не гореть от жара, не зябнуть от холода.

Вот вынул он из-за пазухи яйцо птицы бабы и покатил по полю, приговаривая: "Прокатись по полю, развернись высоким теремом с красными углами, с доброй хозяйкой, с верной прислугой, с богатым гощеньем!"

Яйцо прокатилось по широкому лугу и развернулось богатыми палатами; на крыльце стояла красная девица, ма-нрла к себе Волха.

Утомленный, он едва приподнимается с места; но слуги бегут во всех сторон, берут его за белые руки, ведут на крыльцо, ведут в *мовню*; парят, нежат, обливают благовонной водою, расправляют усталые члены.

Наслаждается Волх новою жизнью; негует его сердце.

Богатая одежда готова; вместо пояса повязывается он волшебною ужицей, связанной из лучей солнца и луны; прикалывает хохолок птицы бабы на шапке и идет в терем. Красная девица молча встречает гостя, ведет в светлицу. Там накрыт белодубовый стол; уставлен яствами и питьем медвяным.

Волх садится за стол, сажает красную девицу подле себя.

Забывает о пище; говорит ей; но девица молчит.

Он ласкает ее. Взаимные ласки бездушны.

Он целует ее. Уста ее румяны, но холодны.

Посмотрел Волх на девицу, вздохнул и стал удовлетворять голод и жажду.

Тихо около него. Шаги и движения слуг не слышны; золотая посуда не стукнет, как во сне; струя медовая пенится, но не шипит.

Все слова и приказания Волха исполняются, но безответно.

Досадует Волх, что нет ему собеседника. Встает из-за стола сыт и пьян; и девица встает, берет его за руку, ведет в ложницу.

— Красная девица! — говорит он. — Возгорись любовью, обними меня!

Девица падает к нему в объятия.

Волх обнимает ее; но, как будто прорезав облако или тень, руки его прижимаются к собственному сердцу, а красная девица стоит перед ним молчалива, неподвижна.

Волх бросается на ложе и засыпает.

Долог и крепок его сон. Наконец он пробуждается: ни терема, ни девицы, ни мягкого ложа; он лежит на том же месте, где упал усталый; но уже сыт и силен; чувство мщенья пробуждается вместе с ним; он встает; но уже не хочет идти пешком. Снова берет Волх яйцо, катит его перед собою, желает крылатых коней, запряженных в колесницу. Колесница является, Волх садится в нее.

Ударив копытами в широкое поле, кони вспорхнули, быстро понеслись по воздуху, над путем, лежавшим на Восток. Наскучив долго лететь, не зная настоящего местопребывания Хорева, Волх, остановись, покатил опять яйцо птицы бабы под развесистым деревом, близ истока реки: явился стол с различными яствами.

Утолив голод, Волх лег на мягкий шелковый ковер с изголовьем, готовый к его услугам под тенью дерева.

Сон не смежил очей его, он перетянул себя светлым поясом и пожелал иметь подле себя рассказчика былей и небылиц.

— Что прикажешь поведать тебе? — произнес почтительно голос невидимого.

— Усыпи меня рассказом: как побрат мой Хорев поехал с *росстани* и не возвратился? где он был и где теперь? что он делал и что делает?

— Изволь слушать, — отвечал голос и начал говорить как по книге:

"Только что отъехал Хорев с *росстани*, напали на него мурые^[176] Печенеги, пленили и продали в рабство Скотану, Гуннскому мужу, Царскому Думцу.

Скотан полюбил его и повел в дар своему Царю Аттиле, который шел тогда из Греции, в столицу свою.

Когда пришел Хорев в Царскую палату, Царь сидел на резном пристольце,^[177] в простом кожухе, с непокрытою головою, с длинным посохом в руках; перед ним стояли великие мужи; он судил с ними про посольство Греческого Царя Феодосия.

— Еже глаголять мь, ^[178] — говорил он, — гора пременит место, вольном веру имать тому, еже глаголят мь: человек нрав пременил, не имам веры!

— Феодосии пише книгу к тэ и ть ^[179] здравить и ть хвалить! — отвечали ему мужи.

— Хвала их не требна мь; требна правда и дань; не подадут, ускорю, нападу на них, пойму Фракию!

Увидев Хорева, Царь обратился к нему и спросил:

— Откуда отрок сей?

— От Теплового моря, — отвечал ему Скотан, — приехал служить тебе верой и правдою! Он храбр и умен.

— Удатность поведи се в сече, разум в гневе, *другованье* в нужде. Дайте ему моего хлеба. Нравен будет хлеб, будет верен.

Хорева повели вон из Царских палат; дали ему хлеба, жареного творогу, баранины, меду и квасу.

На другой день Хорев назначен был ехать с посольством Греческим, с сановником *Максимином*, писцом его *Присном* и иными людьми.

За Дунаем посольство назначено было идти левою дорогою, шедшею чрез владения брата Аттилы, *Влада*, с тем чтоб послы Греческие принесли дары жене его, которая там жила.

От Дуная переправились чрез реки *Дрикон* и *Тишь* и потом поворотили влево и чрез несколько дней прибыли к большому *месту* на озере.

Расположившись лагерем при селении, на другой день послы и Хорев получили позволение представиться *Стояче* и поднесли ей серебряные сосуды, *багр* и Греческие сухие плоды.

После сего отправился Хорев с послами прямым путем к *Граду* стольному на горячих водах. На дороге, встретив послов к Царю Аттиле от Западного Императора, он ехал вместе с ними. Послами были вящие мужи: *Ромул*, *Примут*, *Романа* иные, и с ним *Костан*, *Думец* Аттилы.

На двенадцатый день прибыл Хорев с послами в стольный град.

На возвышенном холме стоял Дворец Аттилы в 30 венцов вышины, строенный на камнях и обнесенный оградой с стрельницами, подле него *белая теплица*, строенная из Задунайских белых камней.

Послам отвели красные палаты Вельможи Царского, на третий день рано поутру забили в *варганы* ^[180] и в *бубны*, повещая приход Царя.

Вельможи и послы Императорские и весь народ встретили его у городских ворот; подле ворот двора его вышли навстречу девы в белых одеждах под навесами полотняными и провожали его песнями в честь

Царю-Отцу. На крыльце встретила его Царица *Гримхильда*,^[181] сопровождаемая своими сенными девушками, и, поклонившись, поднесла ему хлеб-соль и вино. Царь Аттила принял чарку с серебряного подноса, выпил, слез с коня и пошел во Дворец.

Испытав храбрость и великий ум Хорева, Царь Аттила послал его теперь с войском воевать Кавказ...

Теперь он..."

Невидимый не успел еще кончить рассказа, как Волх захрапел. Голос утих.

Спит Волх крепким, но не спокойным сном; мечты кипят в нем; то Хорев, то Кощей, то Словен являются перед ним; дразнят его: Волх бросится за Хоревом — Хорева уже нет, а Словен тянет его сзади за полу; он к Словену — Словен исчез, а Кощеева рука теребит его сбоку за вихор. Мечется Волх во все стороны; враги, побраты его, являются перед ним, как блудящие огни, и мгновенно тухнут. Но мщенье придает быстроты и силы Волху. Вот над синим морем догоняет он Хорева; схватил его, давит крепкими мышцами, но это волна; она уже выхлынула из его мстительных объятий. Он гонится за Словеном, схватывает его за ворот, Словен жжется, пламень пышет Волху в лицо. Гонится за Кощеем, схватил его могучими руками, хочет сдавить, и от усилия трещит у Волха грудь: он давит камень. Мщенье учит Волха хитрости. Вот спрятался он за черную тучу. Крадутся по воздуху Кощей, Хорев и Словен, не видят Волха, ведут между собой совет; а Волх хват — и обнял всех трех, как железный обруч три огромные сваи, и не знает, что ему с ними делать? Всех трех не сломить и порознь нельзя: разбегутся.

Между тем как Волх бредит во сне мщением, разыгралась *буря зельная*,^[182] исторгает великие деревья, яростно рушит в основаниях храмы и *забрала*^[183] крепкие; взлетает, вьет на высоту *бремены* и горы великие как плевелы; носится тучными облаками и льется на все как море пламени.

Просыпается Волх; ужас обдает его. Громовые струи бьют в верхний конец его пояса, перекатываются по лучам, из которых он сплетен, и из другого конца текут в землю. Мгновенный страх исчезает в Волхе при уверенности, что он невредим. Чтоб избавиться скорее от бури, втыкает он хохолок птицы бабы в шапку и, обратись в невидимку, мчится между крупными каплями дождя на *Кафказ*; вот выбрался он уже из-под тучи. День светел, небо ясно. Повсюду тишина; только раздастся, близ берегов *Ры*, военный *гром труб и котлов*. Видит Волх — идет рать великая Царя Аттилы под предводительством Хорева.

— Увы тебе, побрат мой! — кричит Волх, взвившись над Хоревом как вихрь. — Прирасти ж ты к коню своему, скачи ты до конца дней своих, как от погони, не оглядываясь, не останавливаясь!..

Скачет Хорев и чувствует, ноги врастают в коня, и ужас течет по всем жилам, и очи налились кровью, и что-то его подгоняет, торопит!

Он мчится; за ним мчится рать.

Мчится Хорев через горы и доли, через лес, через воды и топи, как воин от раны бесславной; мчится за ним и вся рать, как будто гонимая страхом и вражеской силой.

Мчится Хорев без пути, без дороги, без причины, без цели.

Мчатся и воины за ним, но весь след их уже устлан как будто побитою ратью.

Мчится Хорев, как от лука стрела, и никто уж его не следит; он летит, как страстное желание к недостижимой цели, быстро, как жизнь к концу, и исчезает в синеве дали.

А Волх, довольный своим мщением, отправляется на север к озеру *Мойску*, где живет его побрат *Словен*.

Наскучив идти, лететь и ехать, Волх катит яйцо птицы бабы по воде близ холма и *потока Ярусланова*; является ладья; он сел в нее, и два сома понесли его вверх по большой реке.

Чтоб не чувствовать голода, жажды, усталости и прочих телесных недугов, Волх воткнул в шапку свою хохолок птицы бабы — и стал невидимкой.

Все изменилось в глазах его.

Тьмы невидимых простым глазом, подобных ему, летали в воздухе, плыли на водах, носились повсюду, заботливо, торопливо, как люди, то с чувством добра, то с чувством зла, ласки, дружбы, раздора и войны, все было между ними, только не было в устах их глагола, не было шума от движения и звука от битв.

И в воздухе все делилось на две силы нераздельные, но вечно враждующие между собою. Смешиваясь от неусыпного общего волнения, они старались оторваться друг от друга и слиться друг с другом. Но мерцание духов светлых, темных и разноцветных утомило очи Волха, он снял хохолок с шапки; а между тем ладья его неслась быстро. Крылатые сомы рассекали волны *Ры*, как луч солнца ночную тьму, и вот скоро ли, долго ли примчали его в пространное озеро, откуда река истекала, и остановились.

— Добрый человек! — молвил Волх к идущему по берегу жителю. — *Ведаешь ли, онде путь к городу Словенску?*

Но добрый человек, рыжий, как огненная лисица, скулистый, как *Обр*, одетый в смурый кафтан по колено, перепоясанный ремнем, обутый в плетенную из коры древесной обувь, со страхом бросился от Волха.

Волх ухватил его за ворот.

— Стой, лиса! без ответа не пойдешь! Рыжий забормотал что-то не людски.

— Немой проклятый! — вскричал Волх, поворотил рыжего лицом на вечер, дал ему толчок в шею и отправился сам на полуночь.

Вот уж приблизился он к какому-то великому озеру; видит на другом конце его светлый град; белокаменные строения, осененные рощами, отсвечиваются в озере.

— Это Словенск! — сказала Волху недобрая мысль. Он остановился, чтоб подумать, как отмстить Словену; вдруг позади его из-за рощи лай псов... Несутся на Волха; за ними скачут охотники.

Псы накинулись уже на него с разинутой пастью.

Волх оробел, схватился за светлый пояс; псы впились в него; Но зубы их уже напрасно ищут места, где бы вцепиться, прогрызть: железная чешуя огромного змея непроницаема.

Чудовище свивается, разворачивается, давит, терзает их; визг и вой раздаются по лесу.

Наскакали охотники. Передовые стали жертвою чудовища; остальные со страхом скрылись.

Окровавленное чудовище опустилось в озеро омыть себя.

Это был Волх. Ему понравилось быть змеем; он сохранил в себе только лик человеческий и поплыл вверх по озеру; при впадении в него реки *Мутной* лежал прекрасный город.

Поселился Волх при устье, как на стороже.

Кто ни подойдет к берегу, всех хватает он и топит в реке.

Ужас распространился по Словенску.

Сбнрается народ, собираются жрецы, приближаются к реке, молятся змею, да помилует их. "Будь нашим богом!" — говорят они ему.

Он не внимает, ловит, давит и топит людей Словенских, требуя Князя Словена.

— Нет тебе нашего Князя! губи лучше нас? — кричит ему народ.

Ловит, давит, топит змей людей Словенских, требует Князя Словена.

Доходит горькая весть до Князя.

Приходит Словен, с ужасом узнает в образе змея лик Волха, старшего брата своего.

— Что требуешь ты от меня, злой Волх? — говорит он ему.

— Тебя! — отвечает ему чудовище.

— Возьми! — кричит Словен; бросается к чудовищу и вместе с ним исчезает под волнами.

Стоит народ в оцепенении; все плачут о Князе своем.

— Нет у нас отца, пойдём к матери нашей! — кричат все; приходят к Княгине *Желане*, которая жила в загородном тереме, падают пред нею на колени и молят ее *царить* над ними.

Убила ее весть о бедственной смерти Словена. Вместо ответа народу, она бросается к реке, протекавшей под самым златоверхим теремом, произносит с слезами: "Несите меня волны к Ладу моему!" — бросается в воду и исчезает под волнами; никто не успевает спасти ее.

Плачет народ, проклинает реку *Мутную* за то, что допустила к себе чудовище, и называет ее Волховом.

Плачет народ на реку *Чистую*, зачем она унесла Княгиню его, и называет реку в память Княгини Желанюю.

По *Ильмену-Мойску* плач и стон, по всей земле Словеновой горе.

"Кончил два дела, остается третье, конечное", — думает Волх, отправляясь на падучей звезде, которая возгорелась на севере и неслась к югу, оставляя за собой огненную струю. Не успел еще Волх обдумать род мщенья, которое он совершит над преступным Кощею, звезда рассыпалась над высоким берегом Днепра, и Волх на одной из ее искр спустился на землю близ неизвестного города.

Время уже около полуночи; огонь в высоких теремах тухнет; на стогнах ни души; только крик ночной стражи еще нарушает тишину ночи.

Довечается Волх у сторожей: где живет Кощей.

— Не ведаем, дедушка, — отвечают ему. — Нет в городе сего имени. А есть у нас *Кый*, зять владыки, *размирник*, ^[184] недоброе сердце, черная душа! Живет он на холме, в своих тесовых палатах; поди постучись у ворот его, коли нужно тебе недоброе слово, а милостыню подаст разве только жена его *Лыбедь*. Если б не она, горе бы целому городу!

— Его-то мне и нужно, — сказал Волх, поблагодарил сторожа и отправился на высокий холм, где стояли резные палаты *Кья*.

Кый уже покоится в ложнице, но сон его чуток. Кто-то стучится в косячатые ворота. *Кый* вскакивает, прислушивается.

— Пусти, добрый человек, на ночь! — слышит он и проклинает сторожа.

Просьба повторяется.

Кый выходит сам, бранит сторожей, что позволяют бродягам стучать в его ворота.

Сторожа не слышали ничьего голоса.

Кый возвращается, ложится, но едва только сдвинул он собою пуховую постель, кто-то постучался в красное окно, тот же голос повторяет: "Пусти, добрый человек, на ночь!"

Сердится Кый, прокликает сторожей, выходит на двор — никого нет.

"Это сон", — думает он, осматривает, заперты ли ворота, возвращается, припирает сени, двери и ложится.

Кто-то стучит в сенях: "Пусти, добрый человек, на ночь!"

Кый вздрагивает, встает, идет в сени — сени заперты, в сенях никого нет.

"Это сон!" — думает он, возвращается в ложницу; беспокойство волнует его; но все тихо, глаза его слипаются, и едва только мысли свернулись шаром и прокатились в темную глубь, а память канула на дно...

— Пусти, добрый человек, на ночь! — раздаётся над его ухом. Со страхом вскакивает он, слышит в доме шум, беготню.

— Что такое? — спрашивает он заботливую жену свою,

— Гость! — отвечает она запыхавшись. — Что есть в печи, все выложила ему, не принимает нашего, говорит: *свое есть!* а у самого и кошеля нищенского нет! Проси сам!

— Какой проклятый Татарин зашел ко мне незваный! — вскричал Кый и бросился к светлице; слышит знакомый громкий голос; страх останавливает его в дверях; сквозь щель видит он, что горница освещена как будто пожаром; слышит слова:

— Отколе?

— От поморья, — отвечает чей-то голос. — Неведомые прислали к тебе посоветоваться, что делать с душою Аттилы, когда наступит ей выход из тела. По уму и разуму он прав; хотел покорить землю и небо и для того возвеличился бичом и молотом Божиим; но люди не поверили ему, и тьмы отшедших душ вопиют на него за безвременную смерть.

— Да будет он словом и делом чистилища, — говорит опять знакомый Кью голос. — Отдать в его распоряжение огонь, воду, котлы и все снадобья, служащие к очищению душ. Ну, а ты отколе?

— С *Боричева* холма: уродилась новая душа у рыбака, неведомые прислали спросить тебя, что пожаловать ей на пропитанье?

— Воскормится, возрастет и наследует богатство Кощея! — отвечая грозный голос.

— Кощея! — вскричал Кый и бросился в двери. Нет никого.

Светлица пуста; только угасающий свет меркает, исчезает медленно, как вечеряющий день, и слышатся грозные слова:

"Будь ты проклят, побрат Кощей, отныне до века! обратись кровь твоя в пламень! иссохни в собственном огне зависти и злобы! не покорствуй тело твое душе твоей! воспротивься душа твоя похотям тела! Жажди идти на Восток, а стопы твои да несут тебя на Запад!

Богатей желаниями; нищай волею!

Желай смерти и будь бессмертен! Желай жизни и умирай каждое мгновение!

Будь в глазах твоих добро злом, а зло добром, хлад пламенем, а пламень хладом, любовь ненавистью, а твердая опора пропастью!

Будь пленником и рабом самого себя, рабом людей, рабом жизни, рабом природы, рабом тварей, птиц, рыб, насекомых, рабом всего дышащего и неодушевленного, рабом движения и недвижности, рабом света и тьмы, рабом звука и тишины; да заключится смерть твоя в яйцо птицы Мувы, и да потонет в волнах Ливийского моря!

Пусть найдется земнородный, для которого небо иссушит целое море и обратит каждую каплю воды в песчинку! Пусть зоркими очами своими найдет он в песчаном море яйцо Мувы! Тогда избавится он от муки и жизни; но будь же врагом своего избавителя! Препятствуй ему быть твоим искупителем, ищи его смерти, а вместе с нею и вечности собственных мук!"

Невидимый голос утих.

Кощей стоит неподвижен. Ужас сжигает его внутренность; жена и дочь говорят ему — он не слышит; наступает день — он не видит света.

Взволнованный воздух грозным проклятием, как взволнованное море, еще не успокоился; еще все слова носятся по светлице, как незримые существа, и касаются до слуха его. Но вот мысль, что народившийся сын рыбака погубит его, приводит Кощея в память, он обдумывает средства: как бы известить ребенка..."

— Ведомо ли тебе, государь Ива Олелькович, — сказал иерей Симон, прервав чтение, — что вси Князи, и сини Русстии, и богатыри ополчаются на поганого *Мамая*?

— Нетуть, — отвечал Ива.

— Слава бы и тебе, Боярич, в борзе готовитися идти на погубление злых Агарян; возложить бы тебе кольчуги, и препоясать чресла мечом, и просить благословения у родной матери подвизатися на противные враги.

Там-бо трескут копия харалужные, звенят доспехи злаченные, стучат щиты червленые, гремят мечи обоюду острые и блистают сабли булатные.

Там-бо предо всеми мужествова, похваляясь и хоробруя и избивая поганых, ты бы, Ива Олелькович, венец славы и честь и почесть от Князя

принял.

Там-бо смерть не смерть, но живот вечный!

Там-бо стяги ревут, аки облацы тихо трепещущие, а вой, аки воды, во вси ветры колыблются, шеломы на главах аки заря во время ведряна солнца светящиеся, яловцы, аки пламя, огненно пашется...

— Ой? — вскричал Ива.

— Разумлив еси и храбр, подобает тебе быти Воеводою...

Еще не успел кончить речи иерей Симон, вдруг прибежал от Мины Ольговны конюх Лазарь, запыхавшись. По всему селу искал он Иву Олельковича: его давно ждет матушка.

Иву Олельковича с трудом убедили идти домой, не дослушав повести.

VII

Теперь должно, по обыкновению, сказать несколько слов о наружности и нраве героя *былины*.

Не Английским пером с длинным раскепом изображу я черты его; не скажу, что ясно отражается на лице его; не употреблю ни *Соломоновских* уподоблений, ни *Байроновских* отречений. Не сравню носа его с Ливаном горою, кудрей с морскими волнами, роста с *Гехским испоином*, руки с рукою времени, чистоты и ясности души его с прозрачностью света и воды, крепости сердца с железом.

Просто скажу я, что Ива Олелькович был росту с своего родителя, Олеля Лавровича; лицом бел и вылит в свою родительницу Мину Ольговну, глаза у него были, как две капли воды, бабушкины, только волосы были у него ничьи; витые кудри как лен сыпались на плечи и лицо.

Пылоч как пламя, молчалив как немой, душою ребенок, он не любил ни кланяться, ни просить, и потому даже гости не видали от него поклона; а Мина Ольговна, мамки, и няньки, и пестун Тир не знали, что значит не дать Иве Олельковичу того, к чему он руку протянет.

Речи его, кроме небольших исключений, состояли из слов: вопросительного и удивительного "ой?!" и отрицательного "нетуть!".

Вот каков был Ива Олелькович. Этого-то Иву Олельковича иерей Симон хотел послать в битву за Русское царство против злобного Мамаю. Хитро хотел он привлечь его к себе, воспалить в нем страсть к великим побоищам и дать-понятие о чести и славе.

Цель была прекрасна, истинно пастырская, она восстанавливала мир в селе Облазне и доставляла героя отечеству.

Но судьба воспротивилась мудрому замыслу. Невидимо подкопалась она под здание иерея Симона, и оно рушилось.

Мина Ольговна давно имела на примете дочь соседа своего Боярина Боиборза Радовановича; она *ладила* ее за своего возлюбленного сына. Дело пошло должным порядком; свахи зашли с заднего крыльца; старое знакомство помогло, и вот прислали звать Мину Ольговну пожаловать с сыном на гощение в Весь Новосельскую.

В это-то время Ива Олелькович слушал чтение книги, глаголемой Гронограф, про Кощея, и начинал воспламеняться словами иерея Симона к славе; но посланный от Мины Ольговны помешал ему; с досадою согласился он идти к матери.

Призвав к себе Иву Олельковича и зная все скрытые в нем нити, которыми можно было иногда управлять им, Мина Ольговна прежде всего дала ему пряную коврижку, напоила медом и потом стала к нему вести речь о женитьбе.

— Нетуть! — отвечал он ей. — Пойду на войну, поганых бить!

Мина Ольговна не смела противоречить.

— И на войну пойдешь, мое дитятко, сперва оженись; мое дело тебя благословить на женитьбу, а на войну тебя сама жена отпустит, сама снарядит тебя, сама подведет тебе коня богатырского.

— Ой? — отвечал Ива.

— Да, да, — продолжала Мина Ольговна.

— Ну! — вскричал Ива.

Мина Ольговна поняла значение этого отрывистого звука. Должно было торопиться. Начались сборы.

VIII

Таким образом, Ива Олелькович соглашается соединить свою участь с прекрасной Мирианой; родительница его Мина Ольговна уже расчесывает ему густые *космы*, ведет в кладовую отцовскую, предлагает ему выбрать одежду по сердцу. *Терлик* — Венедецкой ли парчи, из *Перского* ли *изарбата*; или оксамитный *зипун со схватками* алмазными; *кожух* ли *оловира Гречкого*, *кружевы златыми* и *ровными ошитый*, златом украшен и иными хитростями; или кафтан покрою Ляхского; пояс — шелковый ли с златыми *дробницами* или *шитый жемчугом*; *обяз*^[185] златой с *калитой*^[186] и *тузлуками*,^[187] шапку *морховую* или *мухояровую*^[188] с гарлатным околышем или *соболью душчатого соболя*.

Все *отнее* наследство разложила Мина Ольговна перед сыном своим, выставила перед ним бархатные *сапозы*, *шитые волоченым золотом*, и *сапозы зеленого хъза*.^[189] Но Ива не глядит на одежду шитую; удатное сердце его вскипело, когда он увидел на стенах развешанное *деднее стружие!*

Богатырские подвиги Полкана, Бовы, Добрыни Рязаныча приходят ему в голову; перед ним на стене лук-самострел, броня кованая и броня кольчатая: тут Татарский *куяк*,^[190] тут щит, выложенный тремя буйволовыми кожами; там лук разрывчатый с тетивою из оленьих жил и стрелы из трости дерева, перенные орлиным крылом, Перевитые шелком и златом, с кованым копьем; в одном углу: доспехи, *оплечи*; в другом: *парчовая налушня*,^[191] *щиты червленые кованые*, *колонтыри* *злаченые*, *сулицы*, *корды*, *байданы*, сабли булатные, мечи каленые, седла кованые, пращи златом украшены и иными хитростями; *шеломы златы*, *узды с серебряными червчатыми кольцами*; панцири Немецкие, шапки железные, *яловци* *власяные* и *переные*. Чудная оружница! Из глубокого сундука вынимает Мина Ольговна одежду богатую. Зовет к себе Иву.

Не внимает Ива словам матери; чтоб примерять одежду нарядную; он вооружается. На нем уже шапка кованая с переным яловцем, огромный меч привешен к правому боку; он натягивает уже *кощатый* *лук*, приставляет каленую стрелу и метит прямо в глаз своей матери. Убил бы он ее в своем воинственном исступлении; но *бог не дал радости дьяволу*: Мина Ольговна вскрикивает, закрывает лицо руками, бежит вон из ризницы. Преследуя ее, молча, Ива выходит на высокое крыльцо, спускает стрелу. Шипит стрела и

вонзается в дорогую самоцветную птицу, рекомую *паву*, пава вскакивает, взмахивает крыльями, испускает пронзительный крик и клубится по земле. Ива подходит к ней и одним махом меча сносит паве голову.

Первая удача есть добрый вещун сердцу.

Вооруженный Ива ходит вокруг двора своего, все рубит и полет.

Устрашенная Мина Ольговна высылает к нему посла, дядьку Тира. Идет посол на широкий двор, кланяется в пояс удалому доброму молодцу Иве:

— Ох ты гой еси, чадо мое милое, удатный наш барич, милостивец. Прислала меня к тебе твоя матушка править челобитье великое: не бей ты, не губи птицу дворовую, иди де к своей матушке, сотвори ей поклон низменный, упокой ее сердце материнское!

— У-у-у! — закричал Ива. — Снесу я колечище буйную голову! разрублю тебя наполю!^[192]

— Ох, не ты, государь, снесешь мне голову, а родная твоя матушка перебьет мне хребет, разнесет буйную голову наполю, сошлет меня по свету белому. Тебе, государь, матушка приказывает, а ты, свет, не послушаешься, а на холопство падет вина, и казна, и пагуба; бьет без вины не про дело! Молюся ти, сотвори милость, покорствуй родительнице, свет Олелькович! Не видал я от тебя до сей поры *притки* и скорби!.. Умилился, государь!

Ива Олелькович выслушал молитву пестуна Тира, сжалился над его слезами, идет к своей родительнице.

Смотрит он с умилением на слезы материнские, расстегивает обязь мечную, вешает лук и стрелы в ложнице своей и наряжается, как долг велит.

Собирается и родительница его, надевает *поняву*^[193] с частыми сборами, надевает *телогрею* изарбатную, надевает *кику*,^[194] а сверх нее *убрус*,^[195] шитый жемчугом; надевает *тюфни*^[196] с каблуками высокими, шитые по сафьяну золотом; на шею *ожерелок*^[197] из беличьих хвостов; берет ширинку златотканую. Садится на лавку, сажает и Иву. Молча Ива Олелькович исполняет ее приказание; но он занят богатой своею одеждой.

Кончив сборы, Мина Ольговна говорит своему сыну наставления, как кланяться невесте в пояс, а отцу ее и матери земно; как сидеть и молчать, покуда не поведут к нему речей; как не брать помногу гощенья и снеди; как смотреть на невесту не спуская глаз.

Кончив наставления, Мина Ольговна встает с места, приказывает встать с места и сыну своему; приближается к образам, заносит руку ко

лбу, останавливается и приказывает Иве Олельковичу молиться богу *на добрый час* и делать то, что она будет делать.

Ива Олелькович исполняет беспрекословно ее приказание; но смотрит не на образа, а на шитые золотом полы зипуна.

К крыльцу подвозят крытую сафьяном повозку. Пестун Тир, старая мамка, все холопы домовые стоят на крыльце, провожают Боярыню и барича благословениями; вся челядь высыпала на двор. *Возница* приподнял бич, колеса заскрипели. Провожающие, вооруженные вершники, несутся вслед за повозкой.

По торной дороге кони быстро взлетели на гору; открылся широкий Днепр, остров, покрытый скалами, и тенистые, шумные пороги. Выше порога *Струбуна* дорога сворачивает влево, идет яром в Новоселье.

Ива Олелькович, как предок его Ива Иворович в молодости, любит погонять сам; он не жалеет ни коней, ни матери своей, которая во время всей дороги тщетно умоляет его ехать тише.

Под самым Новосельем кони несутся с горы заячьим скоком; у Мины Ольговны занимает дух.

Но вот село, вот и Боярский двор. *Возница* прикрикнул на коней: стянул левую вожжу, головы их завернулись; очертив полукружие перед косящатыми воротами Боярского двора, повозка проносится по широкому двору, и подле крыльца скрыв умолкает.

Жданных гостей встречают.

Сам Боярин Боиборз Радованович выходит, сопровождая мый дворецким, ларечником, ключником, однодворцами, знакомцами, слугами, холопами и вообще всеми домовинами и дворовою челядью.

Он высадил Мину Ольговну из повозки и повел на крыльцо, повторяя: "Прошаем, прошаем!"

Ива следовал за своею матерью; расправив на голове космы в дверях горницы, он, по привычке, надевает опять свою шапку мухояровую, с околышем соболиным; но попечительная родительница не спускает с него глаз, и потому, при сотворении молитвы, он снова обнажает голову свою, а Мина Ольговна берет его за руку и с радостною улыбкою обводит кругом лавок, на которых сидят хозяева и гости. По очереди все встают, кланяются, целуются с Миной Ольговной и поклоняются сыну ее. Все это делается чинно, молча; иногда только слышно: "В честном ли здравии, государыня матушка?" — "Слава богу!" — "Слава богу!" — "Слава богу! лучше всего, государыня!"

Ива двигается боком за матерью; но поклоны его низки и медленны. Мина Ольговна должна часто ждать, покуда он выпрямится, чтоб

продолжать обход и здравствование.

Мину Ольговну с сыном сажают за почетные места.

Начинается *гощенье* и заздравное питье. На великих подносах, уставленных налитыми полными рюмками, разносят пекмез,^[198] разносят гроздие смарагдовое Царяградское; потом пиво ячное в золотых кнеях,^[199] потом сукрой ковриг злаченных, сыпанных кимином, потом черницу, брусницу, подслащенную сырцем, костяницу, клубницу, ежевицу и княженицу.

Потом кисель калиновый, сыпанный сахаром.

Потом черемешники, потом сливовицу, потом пьяный мед...

Потом *гибаницы*...^[200]

Потом черешенье, вишенья и орешенье; в узорочных *плетеницах* *пряженицы*,^[201] дивный мед...

Но вот — отворяются двери, несут чарки с Гречким вином; вслед за подносом выходит красная дочь Боярина Мириана.

Прекрасна собою Мириана; из-под *обнизи*^[207] белокурые волосы заплетены в широкую решетчатую косу, со вплетенными нитками золотыми и жемчужными; глаза Мирианы черны, взгляды не робки, лицо нежно, бело и румяно. Она обошла гостей, поцеловалась с женщинами, поклонилась, опустив очи, мужчинам... и между тем как приближалась она к Мине Ольговне, Ива Олелькович был уже предупрежден, что это его суженая; он встал, и, когда подошла она к матери его, он протянул голову и ожидал, что и к нему подойдет красная Мириана, и его поцелует три раза; но Мириана взглянула на него *глумно*,^[208] как на *Мурина*, и отошла прочь.

Уста Ивы пришли в обыкновенное положение, но очи перестали разбегаться на все стороны; он забыл про сладкий кусок ковриги, который держал в руках, долго бы не сел на место, если б заботливая Мина Ольговна не дернула его за полу зипуна и не усадила.

Когда первый ряд угощения заключился выходом Мирианы и у гостей развязался язык от сливовицы, пьяного меда и Гречкаго вина, общее молчание и шептанье соседок прервалось беседой:

— Издетска не терплю кимину, родная! чему глумно глаголати!

— Ой, осударыня? Я Гречкаго ливана не улюблю, душу томит.

— Ведут речь, что у Кыеве новый *святец* явился, да поганые Тохары не пускают людей приложиться к мраморной *корсте*^[209] и принести требу!

— Мурины нечестивии! пошли на них, господи, огневицу велию!

— От онуду же недобрая сия повесть?

— Посылала, осударыня, вершника, посланца ко огумну, в стольный град, привести миру, да поставить светец перед угодником... не пустила Тохара проклятая!

— Ох, поганые Тохары! — произнесла, вздыхая, одна из кумушек хозяйки. — Я жила в Киеве в день, когда Князь избеже из града и вси Бояре, и внидоша во град поганые! Внидоша в дома и в церкви, и одраша двери и разсекоша, и трапезу чюдную одраша, драгый камень и велий жемчюг! и поимаше хрести честные и иконы бесценные одраша! и найдоша кадии злата и сребра на полетех и в стенах; и многи церкви и монастыри пограбиша; чернче же в чернице облупиша и неколико избиша!..

— Ляхи да Литва, осударыня, — вскричал один Боярин, — нелепее уже Татар! Бирючь, Татара, взял свою *виру* по обычаю, да и седи в упокое; коли, коли Мурзе на поклон ити; а Литвины *скору* сняли! Что *Весь*,^[210] то полк Ляхский, что изба, то шляхта!

— Тс, — сказал хозяин разгорячившемуся гостю своему, показывая на Литовского Хоронжаго, который был на другом краю горницы.

Но Пан Хоронжий, Воймир, слышал нечестные слова; он подошел к гостю, который поносил Литву, и, закрутив усы, произнес гордо:

— Пане, Татары поплениху стары Киев и вся власти Руси; как черны мрак гро зе все зе мли; для че го взмолиху се жалостиво до Гедимина, би спа сал от Та тар злостивых и крутых? Для чего пришел Гедимин и мечом Кублаева сына захва ти, и опростал Русску земе от вргов лютых?

— Не Кублаева сына мечом захватил Гедимин, а Киевские власти! Чи ли побиты Татары? Чи ли упразднилась Русь и вся земля от нечестивых, коли Гедимин нашими пенязи дань уплатил Татарскому Хану и искупил главу свою за Кублая?

Хозяин видел, что слова поселят размирье между гостями; перервал разговор.

Воймир закрутил усы, тряхнул мечом, перепоясанным на *кунтуше* с откладными рукавами, стукяул кованым каблуком о каблук своих желто-сафьянных сапогов и вышел.

Воймир с отрядом легких всадников давно уже стоял в Веси Новоселье. Часто бывал в доме Боярина и терпеливо слушал рассказы старика о подвигах его собственных и о подвигах его предков, служивших Князю Юрию.

Воймир видел не в первый раз дочь Боярина, и Мириана знала Воймира.

А ему нравилась она — вся без исключения.

IX

Между тем как в светлой горнице Боярина гости занялись шумной беседой и начинался второй разнос угощенья; Мириана возвратилась в свой терем и села подле оконца. Ее няни засмотрелись на гостей; она была одна.

Солнце скрылось уже за Днепром, вечер был тих.

Мириана задумалась: ее хотят выдать замуж, не "просясь у ее сердца. Может быть, ему уже мил кто-нибудь?

Вот Мириана слышит тихие звуки голоса; кто-то под окном ее, в тени развесистых вязов, Напеваает песню; не на родном ей языке, но понятном ее сердцу:

Вздую ве тржи, буйны ветржи вздую!
Взбурилем-се дух и сердце,
Радость как слуне чко за йде!
В нядре, ту, стена нье жалостиво,
Те пла крив оле дила, пома рзла!
Мо е мила, ма милишка диева,
Юж отда е сердце й веру другому!
Не! не мо ге де ле жизнью тра ти;
Душа мо я душица, отлети!
Сыра, хладна зе ме, пий кровь те плу мою!
Дьева, дьева, богзмилена дьева!
Розену и стройну кра су сье йсе!^[211]
Вла сы златоствуйчи вье вье, вьевье,^[212]
Зира як слуне чко, очи небе ясне,
Лице беле, на лице же румянцы!
Дьева на — дивь слична, мила ве ле!
Дай ми, дай ми верну свою руку!
Обьял бы ти, девче, пръжал бы ти к сердцу!
Вступи на ножицу, вступи на белитку!
Ко нечик-се в густей травы па се;
Седим на конику, прытко: сердце к сердцу,
Отъедем с тобою во краины дальни!

Песнь утихла.

— Мириана!

— Воймир!

Воймир что-то говорит тихо, тихо.

Ответ Мирианы еще тише.

Высокий терем, разжелезенное^[214] оконце стерегут Мириану.

Во время второго разноса угощения Боярин и жена его занялись Миной Ольговной, увели ее в одриную горницу, и между ними начались разговоры.

Так как молодыми людьми в старину занимались менее, нежели теперь, то и на Иву Олельковича, кроме его родимой, никто не обращал особенного внимания.

Во все время он вел себя по заповеди своей родительницы; сидел смиренно и молчал; только одна соседка старушка побеспокоила его нескромным вопросом: не из-под Кыева ли он?

— Нетуть! — отвечал Ива и продолжал осматривать всех с ног до головы и сравнивать свою одежду с одеждою прочих гостей. В подобном рассеянном состоянии чувств у него вышла из памяти и невеста; он еще не был побежден ее красотою.

Когда хозяева, а вслед за ними и Мина Ольговна, кончив переговоры, показались в светлице, на дворе уже смерклось. Гости заторопились домой.

Мина Ольговна также оправила на себе *ожерелок*, накинула япончицу, подняла сына со скамьи, вложила ему в руку шапку и стала прощаться.

С особенным вниманием провожали ее: хозяйка до дверей сенных, а хозяин до крыльца. На слова:

— В неделю прошаем на красный калач. [\[215\]](#)

— Ваши гости! — отвечала Мина Ольговна и села в повозку.

— С Ивой Олельковичем! — продолжал Боярин, обнимая будущего своего зятя, который уже надел свою шапку.

— Ваши гости, — повторила Мина Ольговна.

Уселись; поехали; заскрыпели опять *колы* [\[216\]](#) у повозки.

Скоро скрылась из глаз едва уже видная звонница Новосельская, слились с темнотою ночи и дом Боярина, и Весь его.

Мина Ольговна, занятая размышлением о судьбе сына, молчала; Ива дремал; повозка скрыпела; кони провожатых топотали ногами. В отдалении, влево, шумел Днепр; вправо шумела дебрь.

Дорога была не дальняя, и потому скоро приехали они домой. Домовины, по обыкновению, встречали их у крыльца, высадили Боярыню и на руках понесли барича. Он спал богатырским сном.

XI

Нужно ли говорить догадливому читателю, что дела с той и с другой стороны ладились как нельзя лучше.

Явились к Боярину Боиборзу Радовановичу сваты с скоморохами, с бубнами и сопелками. И начали они петь:

Как ходил ловец, сударь Ива Олелькович,
По долам, по лесам, по высоким по горам;
Увидал ловец молодую лань,
Златорогую, среброрунную,
Молодую Мириану Боиборзовну!
Как пускал во нее калену стрелу!
Златоперая стрела зашипела, загула.
И попала ей во белую грудь.
Молодая лань златорогая,
Молодая лань среброрунная
Ускочила со стрелой на широк Боярский двор;
По следу ее пришли мы ко тебе, сударь Боярин,
В златоверхий во терем.
Ты, Боярин, наш честной...
Будь ты к нам, осударь, члив и милослив;
Ты отдай младую лань осударю Иве Олельковичу.

— Есть у меня зверь, не знаю, будет ли вам по нраву, — отвечал Боярин сватам...

И точно: вывели к сватам на показ какого-то зверя, закутанного в нескольких шубах навыворот, обвешанного пеленами и покрывалами.

Сваты подходят к нему и поют:

Встрепенись ты, младая лань,
Златорогая, среброрунная!
Ты, младая Мириана Боиборзовна!

— Их!.. — вскричала младая лань и сбросила с себя все шубы и покровы.

— Ух! — вскричали все сваты и разбежались во все стороны.

Вместо молодой лани Мирианы Бойборзовны стоит перед ними старая мамка боярышни. Боярин хохочет. Заговорила мамка нараспев:

— Что ж вы, добрые сваты, испугались, и от лани молодой вы во все концы пометались? Есть под крылышком моим мило дитяtko; а то дитяtko заветное, не отдам его я вам за земной поклон. Принесите-тко на блюде серебро, золото; на подносе принесите зелено вино! Да вы спойте песнь хвалебную ловцу-молодцу!

У мамки в запасе было в руках серебряное блюдо, каждый из сватов положил по несколько сребреников.

Она успокоилась; вынесла сватам на подносе питья медвяного; просила их садиться и ждать *добрoго часа*.

Вошла хозяйка. Начались переговоры.

Никто не слышал, что за речи вели между собою Боярин, Боярыня и сваты. Разрумяненные от хмельного меду, который несколько раз им выносили, они: наконец встали, поклонились земно и на слова Боярина:

— Прошаем в Воскресный день в неделю на красный калач! низменный поклон государыне Мине Ольговне! — поклонились еще несколько раз.

В Воскресный день, в неделю, Мина Ольговна была с сыном своим на обеде в Новоселье. Дело было решено несмотря на то, что будущий зять Ива Олелькович показался Боярину немного прост; но за богатство он полюбил его, а за страсть Ивы к оружию и за воинственный дух прозвал богатырем.

И нельзя было не дать ему этого прозвания: Боярин хвалился Мине Ольговне своим бытъем, возил казать свои Боярские палаты. Когда вошли в камору оружейную, Ива, не говоря ни слова, снял со стены шлем, надел на голову; снял меч, прицепил к поясу, протянул уже руку к налушне, но Мина Ольговна шепотом усовестила его и разлучила со шлемом и мечом. Когда появилась Мириана, чем-то опечаленная, Ива Олелькович замолк и не сводил с нее глаз, не по одному только завещанию матери, но и по какому-то чувству, которое одинаково жжет ум и глупость, сердце нежное и сердце каменное, цветущую молодость и преклонную старость, голову, украшенную светлыми кудрями и покрытую снежными охлопьями.

Мириана не смотрела на жениха своего; иногда выкатывались из глаз ее слезы; но она скрывала их от отца и матери, потому что предание говорит:

"Аще ли отец женити сына восхоцет, сваты испросят девицу у отца и матери; елико же отец ожени сына, то не гляди толико на девицу, колико на

люди, от коих она; ниже дочь не смеет сказать: не пойду за того, за кому дают ее в замужество".

"Горько расстаться с девичьей волей!" — думала Мина Ольговна и ласкала будущую свою дочь.

После трапезы благословили и помолвили Иву Олельковича и Мириану Боиборзовну; но, когда хотели ей надеть золотое кольцо на палец, чувства ее оставили; кольцо и Мириана покатались на пол.

Мириану вынесли в терем, а Мина Ольговна с сыном поехали домой, приготовляться к свадьбе, варить канув и яичные пива.

Солнце не прокатилось семь раз вокруг неба, свадьба была уже сыграна, несмотря на слезы Мирианы Боиборзовны; но свадьба была сыграна по древнему обычаю; Боярин не любил нововведений и простоты.

Еще в день обручения выбраны были из знакомых соседей, Бояр и Боярынь, и назначены в должности: кум, венчанный ручной деверь, старый сват, прикумок, Воевода и Тысяцкий — никто не имел права отказаться от сих должностей. Это был святой закон, строго исполняемый.

В день свадьбы Иву Олельковича нарядили в богатую одежду; швецы сшили ему новый, богатый, червонный оксамитный зипун с частыми борами, со схватами изумрудными в золоте, с петлями, обнизанными жемчугом бурмицким, околыш и обложки по *воскрылиям* и кругом зипуна, шитые золотом, с камениями самоцветными; надели на него шапку парчовую зеленую с кистью жемчужной.

Когда наряд его был кончен, кум, прикумок, ручной деверь *в колах*, Тысяцкий с пустосватами и гусяр верхами отправились к невесте; а Ива Олелькович, разряженный, несмотря на увещания матери, отправился вдоль по селу; любопытство дослушать сказание про Кощея завлекло его к иерею Симону.

Кум, прикумок и Тысяцкий с пустосватами, приехав в дом невесты, уселись в светлице, где стол уставлен был снедью, почагами, яблоками, грушами, вареньем, калинником, орешеньем, вишеньем и прочими ягодами. В *купах*^[217] и в серебряных кнеях: мед, сусло, пекмес и разные ягодницы.

Стол был украшен золотою и серебряною посудой: брашинами, стопами... В углу на лавке стояла серебряная лохань для умовения рук и шелковое, шитое невестой полотенце.

Ручной деверь вошел в горницу невесты. Она уже была готова; только оставалось убрать ей голову. Мириана сидела перед небольшим зеркалом, которое перед нею держала ее подружка. На ней была сорочка, шитая узорами, разноцветными шелками, с рукавами широкими и длинными, но собранными около зарукавья; риза из объяри белой серебряной, с кистями

и кружевами; запоны изумрудные, пети жемчуга бурмицкого; пояс, низанный камнями самоцветными; на руках обручи *чекан золот*, алмазами сажанный и яхонтами червчатыми; на шее ожерелье жемчуга скатного; на груди *гривна* золотая, крещатая, с крестом алмазным? на пальцах перстни многоценные.

Вот уж расплели Мириане косу, расчесали голову, наложили кикю, шитую золотом и жемчугом, накрыли златотканую фатою, осыпали голову хмелем, накинули на плеча парчи Венедицкой на отборном сороке соболей.

Мириана сидела почти без памяти, но ее подняли, она почувствовалась: ручной деверь взял ее за руку и повел в светлицу; отец и мать ожидали ее с иконою и с хлебом-солью.

Благословили Мириану. Поклонилась она в ноги отцу и матери.

Деверь сдал ее на руки куму и принял образ золоченый с *чепью*.

Кум с прикумком посадили ее в воз, *оболоченный червленою кожею и подложенный оксамитом зеленым;; в возу четыре еголовьяоксамитных;* впряжены были в воз шесть жеребцов вороных, а на жеребцах шлеи бархат багрец, а *пряжи* и *кольца* и *пупуци* на шляях и на уздах золоченые. Сели с нею две Боярыни, да сваха, да деверь с иконою; а кум с покумком в другой воз; а Тысяцкий с пустосватами, *яко войницы*, во всеоружии, верхом.

Ас ними стяговщики верхом, да гусляр, да скоморох со скомонями в пестряди, да знахарь в белом хитоне, с красною перевязью писаною, в ушатоу шапке с волчьей обложкою, на поясе хитрости.

Покуда все усаживались, приятельницы, домовые девицы пели прощальные песни.

Когда все уселись, как долг велит, поезд двинулся по дороге к селу Облазне. Гусляр ударил в гусли, песельники запели.

Между тем в селе Облазне хлопоты: пора отворять церковь; пора жениху принимать благословение родительницы; а жених и не думает о том: он слушает чтение *Гронографа*.

Прибегает Тир и Лазарь: зовут отца Симона в церковь, зовут барича к Мине Ольговне; а барич и слышать ничего не хочет, кроме сказания о Кощее бессмертном.

И кто бы не любопытствовал знать: как приемьш Лыбеди, сый рыбаля с Боричева холма, растет не по годам; а по часам; как Лыбедь, полюбив его как родного, женит на своей дочери, и сын рыбаля наследует богатство Кощея; как Кощей с досады сохнет, сохнет, сохнет, как паровая лучина и наконец, обратившись в *злую силу*, покрытую морщинами, с огромной всклокоченной головой, с впалыми очами, носится по миру, похищает красных невест и жен и уносит их за тридевять земель в тридесятое

царство...

— Ой?.. в тридешатое царство? — вскричал Ива Олелькович, разинув рот.

— Невеста, невеста едет! — вскричали прибежавшие новые посланцы от Мины Ольговны.

Ива не внимает призываниям; он непременно хочет дослушать сказание; а сказания еще и половина не кончена.

Хитрый иерей Симон видит, что добром Иву не выживешь; пришлось выживать обманом.

— Государь Ива Олелькович, невеста твоя едет, иди навстречу, абы хищник Кощей не исхитил ее!

— Ой? — вскричал Ива; подумал и пошел скорыми шагами домой.

В это время невеста подъезжала уже к селу Облазне. Сваты Ивы Олельковича и Бояре верхами, с знаменами и песнями встречали невесту при въезде в село и проводили до церкви, где Ива стоял уже в дверях.

Обряд венчания довольно известен всякому: к чему описывать его?

Когда жениху надели на руку кольцо золотое, а невесте железное; когда иерей поднес им испить вина, а Ива хлопнул о землю стопу золоченую и растоптал ее ногами; когда певцы запели *Исайя ликуй* по-Гречески, ибо большая часть служения и слов еще не были вполне переведены или считались столь же — непреложными, как Аксиос, Аксиос! обряд кончился.

Здесь должно заметить, что венцы, возлагаемые на венчаемых, прежде были кованые железные, а не листовые серебряные, как ныне, и потому их по необходимости держали девери над головою, а не надевали на голову.

Кум, старый сват и все присутствующие поздравили жениха и невесту; долго длилось целованье, наконец невесту повели из церкви; за ней следовал весь ее причет; потом шел Ива с своим причетом. *Встрешники* приняли невесту на крыльце и повели под руки чрез сени.

Вошли в избу, на *стану*^[218] молодые ударили челом в землю.

Посаженый отец и посаженная мать встретили их хлебом и солью, благословили иконами и посадили перед поставцем, на котором стояли *суды* и *овощники*.

Едва только они сели, *знахарь* поднес невесте *поминку*, приговаривая: "Не внидь судо, стайник бесови, скверное сердце, седми лукавых жилище, вепрь диавола, велик сосуд злобе, главня содомского огня, пес неведомый, змий тмоглавый, огню геенскому пища, сатанин провенец! не внидь судо!"

После него все прочие гости также стали подносить поминки.

Иной на серебряном блюде *копу златниц*, иной икону в ризе кованой, иной икону в ризе, шитой зерном бурмицким, иной камку с золотом, иной *барилку* вина Фряжского, иной полутретьядцать сребреников, иной укрой хлеба пряного, иной разных овощей и плодов, иной *сгибней*^[219] печеных...

Таким образом стол перед ними уставился подарками, сосуды и овощницы наполнились золотом, калачами, пирогами, печеницами, караваями и овощами; гости сели в круг стен светлицы на лавках, покрытых оксамитными полавочниками.

Гусляр заиграл, хоровод девиц запел, начались пляски, свадебные красавицы плясовицы по очереди выходят на *середу* и, смотря себе на ноги, выделывают разные узоры и плетеницы ногами.

Потом свахи обнесли всех гостей заздравным питьем.

Потом все гости стали прощаться с молодыми, а должностные свадебные люди принялись опять за дело.

В новой избе, на клетки, под пологом, настлали они житных снопов, а на них постлали сорок соболей да изголовье; в головах у постели поставили кадь, наполненную пшеницею, житом и просом, а в нее каравай и венчальные свечи. Потом повели молодую в *одрину*;^[220] потом свахи сняли с Мирианы и фату золоченую с бахромою, и ферязь шитую с ужицами и кистями, и кичу, и подвески с бурмицкими зернами и камнями честными...

Надели на нее свиту белую, шитую лентами, обвязали крепко-накрепко девичьим поясом, уложили и накрыли шелковым одеялом.

Тут начался приступ Ивы *с своими* к дверям одрины, которую защищала сторона молодой; Ива не шутя отметал всех от двери, отломал замок, и за ним закрылись двери.

Тысяцкий с пустосватами, вооруженные с ног до головы, расположились на стороже вокруг новой избы.

По обыкновению, они должны были провести таким образом ночь, до белого света; Тысяцкий похаживал с мечом в руках около красного оконца и прислушивался...

Прочие свадебные стражи сквозь дремоту думали уже о *пирожном столе* и *хлебнах*.^[221]

Едва только в доме все утихло... небо, как нарочно, заволклось облачками; одно из них, потемнее прочих, налетело на луну и окутало ее плащом своим. Вдруг из-за оградицы показалось что-то.

— Кто-сь? — вскричал один из сторожей. Без ответа, как будто толпа теней, накинулись на Тысяцкого и всех его воинов и, подобно облаку,

окутавшему луну, без шуму, без крику, окутали их и исчезли с ними в темноте.

Вслед за ними другая толпа, как будто на крыльях, поднялась к самому красному оконцу; оно растворилось; что-то черное провалилось в избу. Вдруг осветило ее, потухло. В избе кто-то вскрикнул, умолк.

Из окна потянулись тени назад; окно захлопнулось.

Толпа свернулась; все утихло; вдали послышался топот коней.

"О!" — раздалось в новой избе. "Ох!" — раздалось со всех сторон, около новой избы.

XII

Еще не рассветало, а все уже верх дном в доме Мины Ольговны: взбурился Ива, ходит исступленным по хоромам и по двору, грозит смертью всем и каждому, кто попадет под руку; следит его Мина Ольговна, ломая себе руки; пробирается за ним по стенкам пестун Тир, протирая глаза, отяжелевшие от хмеля и сна; стучит костылем старая мама барича, творит молитву и ограждает крестом каждый шаг свой вперед; во всех дверях стоят толпами домовины и слуги, прикрыв левую ланиту левой ладонью в знак ужаса, удивления, горя и участия, и держат правую руку наготове к крестному знамени.

— Нечистые духи в образе медведей облапили Тысяцкого и всю охранную стражу, носили, носили но воздуху и потом разметали, еле живых, по всему двору! — говорили друг другу уstraшенные домовины.

— Нечистый дух в образе крылатого змея похитил невесту барича! — шептали сенные боярские девушки.

— Государь ты мой. Ива Олелькович! Чадо мое милое, Ива Олелькович! — вопила Мина Ольговна, преследуя своего сына.

— Коня! — вскричал вдруг Ива, как будто внушенный сверхъестественною силою, сопутницею великих богатырей и храбрых витязей. — Благослови! — вскричал он опять, обратившись к Мине Ольговне.

— Ох нет, нет! Государь ты мой, Ива Олелькович, чадо мое милое! Нет! куда тебя бог понесет!.. Не покинь ты меня, родную свою матушку!.. где искать тебе жену милую? Похитил ее пес неведомый, змий тмоглавый! Унес ее вепрь дьявола! Слышала я заклинания знахаря, да не помогла свеча воску ярого от силы бесовой!

— Коня! — вскричал опять Ива, не внимая молитвам и слезам матери, и бросился бегом прямо в ризницу.

Часть третья

С лишком за четыре столетия до настоящего времени в Княжестве Киевском, в селе Облазне, на дворе Боярском столпились домовины, селяне, слуги и иная *простая чадь*.^[222] В руках у Тиуна и у старост сельских была хлеб-соль, у иерея Симона четки, у дьяка ларец с крестом и кувшин с святою водою, у звонаря эпитрахиль, а у всех прочих шапки.

Все они пришли поздравить свою Боярыню Мину Ольговну с благополучным возвратом единокровного её сына. Ивы Олельковича, вместе с милою своею четой Мирианой Боиборзовной.

В ожидании дозволения войти в Боярские хоромы они слушали рассказы конюшего Лазаря про вещи чудные, дивные, про великого и могучего богатыря, про своего барича Иву Олельковича.

Обступив его со всех сторон, они, покачивая головами, в один голос вскрикивали: "Ахти диво-сь! ээ! сила хрёстная!" — и иногда даже крестились. Только иерей Симон, мних из Афонских гор, гладил бороду недоверчиво.

И кто ж бы поверил Лазарю, конюху барича и сказочнику? Впрочем, кто ж бы и не поверил? Вот что рассказывал он:

— Скоро летел окаянный Кощей с Мирианой Боиборзовной, да и мы за них хоботом.^[223]

Вот проскакали мы в девять дней девять земель, девять царств; вот догоняем Кощея; а он, нечистая сила! видит погоню быструю, беду неминуемую, бросает нам под ноги море глубокое; мы туда-сюда, вдоль по крутому берегу, нет конца! Не на чем переплыть моря великого!

Видим, летит туча синяя по *шире* неба. Взговорил к ней мой барич, сильный и могучий богатырь Ива Олелькович: "Ох ты, туча синяя, громовая, буря бурная! не ходи, не гуляй ты в безделье по поднебесью! Сотвори дело доброе, благодейное! перенеси нас, храбрых молодцев, сильного, могучего богатыря Иву Олельковича и верного его конюха Лазаря-сказочника, через море широкое! Подарю я тебе, туча синяя, за то калену стрелу".

Туча синяя послушается и с великою тихостью на землю опускается. И становится на нее и с конем своим барич Ива Олелькович и верный слуга и конюх его Лазарь-сказочник.

Несет она нас чрез море широкое, шумит и гудит, гонит ветры буйные во все стороны, опускается на восточный брег.

Платит ей Ива Олелькович калену стрелу златоперую; отпускает с честью на поднебесье и скачет лисьим скоком через поля раздольные, через леса непроходимые, через горы высокие, вслед за Кощеем, не крестною силой, а я за ним хоботом.

Вот проскакали мы еще девять земель, девять царств, догоняя Кощея поганого, слышим плач и стон Мирианы Боиборзовны.

Видит Кощей беду неминучую, слышит погоню близкую, вот уж барич напряг лук разрывчатый, метит в Кощея каленую стрелой, а Кощей, окаянная сила! вдруг заслонил нам свет божий кромешною ночью, мрак-полунощник облек *ширу* неба: ни ясного месяца нет, ни звезды, а в глазах все мерещатся со всех сторон Кощеи, со всех сторон слышен плач и стон Мирианы Боиборзовны! Куда гнать погоню?

Летит по поднебесью ночная птица филин ушастый, хлопает очами, а очи как две печи топятся!

Взмолился к нему господин мой: "Ох ты гой еси, филин ушастый, косматая птица! просвети ты ясными очами кромешный мрак, покажи, куда лежит путь-дороженька за тридевять земель в тридесятое царство! Отдарю тебя, филин, богато: поставлю тебе между глаз словно солнце алмаз".

Захлопал филин очами, захлопал крылами, прокричал диким голосом, выпучил очи, как две головни, летит и светит вперед, как светец. Вот скачем мы вслед за ним девять дней, проскакали мы оленьим скоком девять земель, девять царств, догоняем Кощея бессмертного, слышим стон и плач Мирианы Боиборзовны.

Видит Кощей беду неминучую, слышит погоню быструю, близкую; проливает поперек пути реку огненную!

Едем мы, горюем мы вдоль берега реки огненной; ни переплыть, ни перелететь; сожжет, опалит, как лесной пожар!

Летит по чистому полю, по широкому раздолью вьюга-метелица. Взмолился Ива Олелькович: "Ох ты гой еси, вьюга-метелица, вихорь крученый! взвейся, закрутись, промети мне путь через реку огненную! Заплачу я тебе за службу богатым добром, золотым песком!"

Послушается вьюга-метелица моления Боярского, крутится, мечется во все стороны и идет столбом поперек реки; раздается огонь в обе стороны, разметает вихрь дно реки, словно улицу.

Вот мы едем вслед за вьюгою за метелицей вихрем крученым, выезжаем на правый берег, отпускаем вихрь в поле чистое, сами скачем вслед за Кощеем, не крестною силой.

Догоняем мы Кощея в царстве тридесятом, близ великого города с девятью заборами, с крепкими бойницами и стрельницами.

Видит Кощей погоню близкую, чувствует свою беду неминуемую! залетает скоро в город свой. Вот мы за ним в ворота — ан весь город, словно жернов, заходил ходуном!

Ездим мы, горюем мы вокруг города; стены вертятся, стены кружатся в обе стороны; а высокий хрустальный терем среди города, как смерч, стоит; а из терема слышен стон и плач Мирианы Боиборзовны.

Тут-то, православные крестьяне, прилучилося нам горе великое! Ездим мы вокруг города, смотрим на него, горе мыкаем.

Вот подъехали мы к восточной стороне; увидели там гору великую, а в той горе пещеру глубокую, а близ пещеры той сидит старец. Сидит он, горько плачет, слезы проливает; текут слезы двумя потоками, клубятся слезы по седой бороде, льются на землю рекой кипучею, крутят волною песок; ворочают камни, несутся прямо к городу.

— Бог помочь, дедушка! О чем плачешь, слезы проливаешь? — возговорил Ива Олелькович к старому дедушке;

— Как не плакать-ста, как слез не лить, осударь бога-тырь честной, не ведаю ни имени ни отчества!.. Живу я здесь безвыходно вот уже три сорока; была радостью г помогай мне клюка с корвою надолбою; была та клюка лавровая Ливанская; сам ходил за ней, проходил тридцать лет; сам рубил ее, прорубил семь годов; а Кощей, злодей, уморил меня, взял мою клюку, подпору крепкую! Недостало ему речной воды, чтоб пустить в ход шестерню городскую и вскружить весь город жерновом; дай, говорит, старень, слез твоих; а не дашь, отниму я у тебя подпору крепкую. Не поверил ему; о чем, думал-ста, плакать мне, горячие слезы лить, когда под ясным небом все красно и радостно, а в сердце тепло и на старости. Не дал ему я слез ни в куплю ни в гостьбу. Распалился злодей; хватъ клюку мою, да и след простыл!

Еще горячее залился слезами седой дедушка, закружились слезы к городу; заходил, застучал город жерновом.

Возрадовался Ива Олелькович речи старика, догадлив был.

— Ты не плачь, не рыдай, старичок, не точи горьких слез, подопришь ты мою дубовую палицей; к уденью добуду тебе я клюку, добуду и свою Мириану Боиборзовну.

— Ой? — сказал старик радостно и перестал слезы потоком лить.

Вот не стало реки, перестал город ходуном ходить, молоть жерновом.

Понеслись мы стрелой к городским воротам. А там, на стороже, лежит красный рак с каленою клешней, вытулил на нас очи, ждет добычи.

Не долго думал, снаряжался Ива Олелькович: напруг тугой лук, пустил по каленой стреле в дутые очи красного рака; рак захлопал хвостом,

ухватился клешнями за стрелы; а мы на пролет в ворота и городом скачем. Нет ни души; а слышим, вокруг нас шумят, говорят и под нос смеются; толкают коней и толпятся, припустишь коня — с криком прочь бегут, диво, и только! Весь город серебряной выложен плитой; а дома из цельных самоцветных камней; а на холме высоком середь города стоят алмазные палаты, сквозят, как вода, а пусты; лишь слышны там стоны и плач Мирианы Боиборзовны.

Подъезжаем к крыльцу; привязываем коней к хрустальному столбу; а; голос из красного оконца: "Не ходи, Ива Олелькович, не губ" ты жизнь молодецкую, не буди ты Кощея бессмертного; проснетя, разломает шестерней твои косточки, сметет жерновам в мелкий прах и развеет но нолю!"

Несяушает Ива Олелькович слезных речей Мирианы Боиборзовны, ступает на ступени высокой лестницы; я за ним хоботом. "ТЬфу, сила нечистая! нога так и тонет и вязнет в алмазных ступенях!..

— К Боярину, к Боярину! честный иерей, сельский Тиун и весь крещеный люд! — вскричал вдруг, выбежавший из Боярских хором, пестун Тир.

Лазарь умолк; толпа двинулась за мнихом и Тиуном на высокое крыльцо; застучали деревянные ступени, отво-> рилась дверь в светлицу Боярскую.

Покуда вящие люди села Облазны теснятся в дверях, проталкивая друг друга вперед, мы обратимся к прошедшему.

II

Вы слышали, богу милые читатели, рассказы Лазаря про его богатыря и храброго витязя Иву Олельковича; кажется, рассказывал он все вещи сбыточные, рассказывал красно, ни на одном слове язык его не споткнулся, подобно коню, на котором он следовал за своим баричем; но Лазарь, *покой бог душу его в царстве небесном!* был хвастун; Он взвел и взнес на своего барича небылицу в лицах. Жаль только, что перервали рассказ его: наслушались бы вы не!гакой небывальщины; поведал бы он вам то, что видел и слышал, и то, чего *видом не видал, слыхом не слыхал*. Срубил бы он вам красную избу у заморского зверя во лбу. Светла изба, словно день-деньской, велика изба, словно божий мир; в одном углу венчают, а в другом углу хоронят, в третьем пир идет горой. А как высока изба! куры по кровле ходят, с неба звезды клюют; да и лес-то какой! везут дерево, об Рождестве пройдет комель, а вершина на Другой год об Масленице...

Много хитрых и чудных вещей знает Лазарь, да не со сказки Лазаря моя былина писана.

По-книжному вот как было:

Кто не помнит, как проскакали мимо пастуха Мины два храбрые витязя. Это были: Ива Олелькович и верный конюший его, Лазарь-сказочник.

Вот едут они путем широкою дорогою, скачут без отдыха, без усталости, не спуская глаз с синей дали. Давит Ива Олелькович своего серо-пегого коня железными коленями, погоняет его широким мечом по левому бедру. Пронесется по небу темное облачко. Ива Олелькович, осадив коня, осматривает, не закутался ли в него поганый Кощей с Мирианой Бойборзовной; летит птица пролетная, бежит зверь прыскучий: всматривается богатырь, не сидит ли на них нечистая сила.

Мчатся мои витязи, бегут мимо них поля, горы, леса, долины, болота, ручьи, катится солнце, летит время. Вот уже вечер.

Вот кони моих витязей едва идут. Пора на ночлег. Они не позаботились о пище; а голод говорит: если уже не время обедать и полдничать, то пора хоть повечерять.

Вот, проезжая подле леса, вдруг Ива слышит: вправо раздается плач младенца; остановился Ива; прислушивается; Лазарь также поворотил левое ухо — которым он лучше слышит — к лесу.

Плачет!

— Жилье, боярин! — говорит Лазарь. — Вот и тропинка в лес. Скачут тропинкой. Вьется тропинка, извивается в чаще деревьев. Младенец все плачет впереди.

Приударил Ива коня.

Солнце закатилось. Ложатся потемки по лесу.

Младенец плачет вправо.

Дорожка тянется влево.

Задумался Ива: куда ехать?

Своротил с дороги на голос... Младенец плачет влево.

— Ох ты окаянный! — вскрикивает Лазарь, которому сучья обили глаза.

Пробирается Ива Олелькович сквозь тущобу. Он влево, а плач младенца вправо; он вправо, а вопли влево.

Ломает с досады Ива сучья; но вот один натянулся и так ударил его по лицу, что он выхватил меч и начал рубить и вправо и влево, и виноватых и невиноватых.

Вдруг раздается над ним хохот... Ива давит коня, торопит мечом, ломится чрез чащу, хочет догнать насмешника; а насмешник опять хохочет ему под нос.

А младенец кричит назад, в нескольких шагах от наших витязей; а ночь затопила мраком весь лес.

— Господин барич! то Леший нас водит! — сказал Лазарь, крестясь. — Подождем свету божьего.

Ива подумал, послушался своего конюха; и вот наши герои слезли с коней, пустили их щипать листья густых кустарников, а сами залегли.

Лазарь чувствует жестокий голод; он не может спать, он бредит пищей и питьем. Только что задремлет... кусок под носом; хочет укусить... и очнется; только что глаза закроет... мед по усам так и течет, а в рот не попадает; рассердится Лазарь, отскочит и очнется.

У Ивы Олельковича только Кощей и Мириана Боиборзовна в мыслях; он храпит уже, и ему все кажется, что скачет вперед.

Читатели могут подумать, что легко выбраться на прямой путь, когда за нос водит Леший? Напротив, человек не Леший, а если чей-нибудь нос попадает ему в руку, то прощай, прямая дорога! кружит, кружит... не несколько дней, а годы! Однако же моим витязям покровительствовала судьба: они прокружили и проблудили в лесу только дважды семь дней.

Народился новый месяц; Леший пошел поклониться ему; а между тем Ива Олелькович и верный его конюший выбрались в чистое поле. Во все время питались они только младичием дубным; но Ива бодр, как будто

тяжелые латы жмут не его плеча, как будто железная шапка трет не его чело, как будто голод безгласен, а жажда нема; только Лазарь устал, проголодался, жалится на судьбу.

— Ух! — наконец восклицает он и думает про себя: "Хоть бы избушка на курьих ножках навстречу!"

А избушка тут как тут, направо близ лесу. Лазарь испугался; Баба-Яга представилась ему на мысль; а богатырю Иве Олельковичу ее-то и надобно. Осадив коня, он произнес громким голосом:

— Избушка, избушка! стань к лесу задом, а ко мне передо м!

Не тут-то было! Избушка не слушает, стоит себе и к лесу, и к нашему храброму витязю боком.

— Иду! — воскликнул Ива, выхватил меч, соскочил с коня и прямо в избу.

На Лазаре от страха застучала броня, и неудивительно: он любил рассказывать про подвиги богатырей, про чародейства кудесников и ведьм; но он, как и всякий просвещенный Историк, верил преданиям о чудесах, без которых нельзя было бы связать двух истин.

Преодолев, однако же, страх, Лазарь осмотрел со всех сторон избушку; видит, что она похожа на обыкновенную избу; есть волоковое окно, есть и красное окно; и двери ходят на верях, и крыша крыта соломой, и на князьке вырезан петух, и сидит на перекладине голубка, и сизой голубь около нее ходит, дуется, воркует, и подле избы переваливаются с боку на бок утка и селезень. Лазарь перекрестился, прочитал молитву, привязал к плетню коней, прислушался в дверях, полуотворил, взглянул и отступил с новым страхом: Ива Олелькович заносил на кого-то меч.

— Эй! — раздалось в избе.

Лазарь, едва переводя дух, вошел в избу.

Ива Олелькович с окровавленным мечом стоял над каким-то чудовищем.

Лазарь первый догадался, что это молокосос теленок.

Убедившись в истине, Ива Олелькович стал снова все осматривать, шарить по углам. Лазарь также.

Изба как изба, все в добром порядке, а нет ни души.

Влево печь, близ печи голбец, под голбцом подполье, на пересовце висит лапоть. На воронце и грядке сохнут дрова, лежат связки паровой лучины, лежат оцепки, лежат наговки и сеяльница.

На полицах стоят горшки и дуплянки.

На заволоке стоит деревянная посуда, стоят чашки, ложки.

В сени проведен дымволок.

Ива Олелькович подумал бы, что Бабы-Яги дома нет, да огромная ступа в углу стоит, и пест, которым она ступу погоняет, тут же, и клубок, который прокладывает ей дорогу, тут же.

— Дома! — говорит наш богатырь.

Вдруг под лавкой с подзорами заклохтала курица. "А! наседкой сидит на яйцах!" — подумал Ива и потащил из-под лавки лукошко, но испуганная курица спаслась от гибели: вспорхнула из лукошка, распустила крылья и с звонким о криком бросилась в угол в где стояла ступа. Ива предупредил ее, ухватил пест, заслонил ступу. Курица порхнула в отворенные двери.

Ива не заметил.

— Ма! — раздалось на печи.

— А! — вскричал богатырь и бросился к печи. Лезет; но пот уже катится по челу его; а кованые доспехи не гнутся: это не шитый из рыта и бархата кожух.

— Ма! — раздалось опять на печи.

— Эй! — загремел Ива.

Лазарь понимал это Русское восклицание, которое Ива Олелькович произносил всегда и вместо имени, и вместо местоимения.

Поиски Лазаря простирались не далее шестка, печи и печурки; на шестке нашел он выставленный горшок каши, в печи котелок щей, а близ подпыльника в печурке черепок сала.

Во время сильных впечатлений хотя и забываются голод и жажда, но Лазарь был памятен от природы и, сверх того, не был мнителен; ему и в мысль не пришло, что голова Бабы-Яги может обратиться в горшок каши, туловище в котел со щами, ноги в ложки, а руки в уполовник.

Очень довольный своей находкою, он уже читает молитву перед трапезой, солит щи и уломил уже сукрой хлеба, найденного в заволоке, как вдруг раздается опять "Ма!", а потом вскоре опять "Эй!".

Очнувшись, как будто от усыпления, Лазарь бросает ложку и вскакивает.

— Эй! — повторяет Ива, и Лазарь догадывается, что угодно баричу.

Сбросив с себя кожух с накладной чешуей, Лазарь лезет на печь.

— Ма! — раздается снова на печи.

Первый порыв Лазаря был новый испуг, но он видит, что мальчик лет пяти сидит на печи и, протирая глаза, голосит на весь мир.

Ива знал, что иногда Леший кричит, как младенец; но ни один нечистый дух не смеет являться в ангельском образе; и Лазарь знал это поверье и потому, по знаку своего барича, стащил мальчика с печи, несмотря на вопли и слезы.

"А, старая ведьма! — думал Ива, смотря на румяного и кормного мальчика. — Верно, готовила его на обед себе! Не дам души погубить!"

Довольный своими поисками, Ива Олелькович обратил внимание на пар, который столбом стоял над огромной чашей; он присел к ней, отломил ломоть хлеба, обмакнул во щи, всунул в руки мальчику и стал удовлетворять голод свой.

Мальчик умолк, увидев хлеб в руках своих; Лазарь также, уломив хлеба, стал протягивать руку за горячими щами и подувать на ложку.

Когда котел можно было уже надеть вместо шлема, когда в горшке не осталось уже и поскребышков каши, когда огромный каравай хлеба прошел сквозь тын зубов Ивы Олельковича и его конюха, приспешника Лазаря-сказочника, и голод и жажда были уже отчасти удовлетворены, барич-богатырь встал с места, помолился богу, показал рукою на ступу и на мальчика, произнес "во!", и Лазарь понял, что ступу-возницу Бабы-Яги должно привязать в торока, к задней *случе* седла богатырского, а мальчика взять с собою.

Отдав таким образом приказания свои кратко и ясно, Ива Олелькович взял пест и клубок-дорожник, вышел из избы, сел на своего коня, поглядывая с удовольствием на ступу, которая заняла весь хребет конский, и пустился вдоль по дороге.

Мальчик, как лихая беда, навязался на шею Лазарю, с трудом усадил он его, надорвавшегося от крику, перед собою на седло и пустился вслед за баричем, проклиная нечистую силу.

Он уже почти догонял его; ибо Ива Олелькович ехал тише против обыкновенного: ступа колотила его в спину, выбивала из седла; вдруг слышит Лазарь позади себя шум, крик, погоню скорую.

Бог знает, что подумал испуганный Лазарь, приударив коня пятами, но понесся во весь опор, волосы у него стали дыбом, руки опустились, мальчик взвизгнул, конь спотыкнулся, седок полетел в сторону, лихая беда — в другую, и лежат без памяти.

Близкий конский топот и крик вывели Лазаря из беспамятства; он вскакивает, бежит к своему коню, который спокойно щипал густую траву близ дороги, перекидывается через седло и несется оленьим скоком.

— Добро, добро! денная тать, Татара поганая! — раздаются за ним голоса.

Лазарь не оборачивается, скачет от погони, догоняет Иву Олельковича, который, подъехав к реке, искал между тем брода.

III

Чья душа не забудет боязни подле такого витязя, как Ива Олелькович? Бесстрашие, самонадеянность, доспехи и оружие, все приметы и свойства богатырские в нем и на нем.

Лазарь, подъехав к нему, перевел дух, оглянулся назад — погони нет, — успокоился и, видя, что барич готов уже спросить его: где мальчик? он утирает пот с лица и начинает ему рассказывать ужасное событие следующим образом:

— Ах ты, сила окаянная! чтоб согнуло его корчагою! Только что я уселся в седло и взвалил его, как мешок с пшеницею, перед собой, на переднюю слуку; только что пустился заячьим скоком — глядь — а он, кикимора! оборотился в красную девицу да и заговорил не своим голосом: "Отпустите-де, Лазарь Зуевич! отпусти меня в дом родительский! отпустишь..." Ах он, проклятое в утробе детище! срамно и говорить!.. так и обнимает, так и целует, так и стужает, мутит сердце молодецкое! А я: "Нетуть, сударыня!" — да и обхватил ее поперек, а она: "Непустишь?" — да и заметалась, да и давай щекотать под ребры; я так и закатился! да догадлив был: "Господи Иисусе Христе!.." — она и посыпалась, словно песчаная; я скачу, а она сыплется, я скачу, а она обсыпается! Ах ты, сила небесная! Смотрю: ни ног, ни рук, лежит словно ком крупы-чатой муки, да трусится по дороге, а нечистая сила гонится следом да ревет зычным голосом! Я понуждать коня, да и прискакал к тебе, боярин; глядь — уж нет ни пороха; только и осталось, что есть на руках да на одежде.

Ива Олелькович, слушавший со вниманием рассказ Лазаря, подходит к нему и уверяется, что действительно на руках, на платье и даже на лице есть большие следы прилипнувшего песку; он дивится чудному событию и потом обращается опять к реке, думает: как бы переправиться? Решился пуститься вплавь; но вспомнил о клубке Бабы-Яги. Отвязывает клубок от седла, берет шерстяную нитку за конец, бросает клубок в реку; плывет клубок вдоль по реке; Ива и Лазарь следуют за ним по течению; тонет клубок, катится по дну реки; нитка зацепляется за подводный сучок, не тянет за собой богатыря; Ива останавливается, ждет, покуда клубок выплывет, стоит на одном месте, как будто рыбу удит. Между тем *всем планетам планета* беспечно закатывается за темный лес и оставляет наших героев и в темноте и в недоумении: отчего клубок остановился посреди реки?

Ива Олелькович дергает за нитку; нитка "обрывается. "Кощей окаянный!" — думает он и с досады, что остановлен нечистою силой, продолжает погоню, сбрасывает с себя шлем и распростирается на земле, под сень густого дуба.

Лазарь доволен, рад, что после сытного обеда в избушке на курьих ножках и после страха он может успокоить и члены и душу. Путает коней, пускает их на тучный луг, склоняется на отдых под ракитовый куст и храпит как зарезанный.

До усыпления Ива Оледькович перебирает в мыслях все препятствия, которые ему еще должно будет преодолеть; всех богатырей, с которыми нужно будет измерять свои силы; всех чудовищ, которых меч его разрубит напо-лы, покуда доедет он до тридесятого царства и исхитит из рук Кощея Мириану Боиборзовну. Вот ему кажется, что он уже все преодолел, что Мириана Боиборзовна уже близка от него. Мечта превращается в летучий сон, как куколка в мотылька.

Ива спит.

IV

Ива спит. Ничто не нарушает его спокойствия; он видит, что отдыхает на берегу реки, за которой светится терем Мирианы Боиборзовны; но вот...

В темном бору не ветер шумит, по вечернему небу не туча плывет, во чистом поле не *Посвист* воет, не град стучит; скачет путем-дорогою богатырь *Полконь*.^[224] На плечах у него броня: чешуйчатая, на голове шлем с ночной птицею, хребет покрыт шерстью златобахромчатую; под копытами подковы серебряные, подбиты гвоздями алмазными. Скачет, он, словно сорвался с привязи, словно седока с седла сбил, словно богатырская пята бьет в широкие бока. Кипит у него ярость в буйном сердце, держит он калену стрелу на изготовье, и возговорил он трубным голосом всем окрестным местам во услышанье:

"Заехал в мой притон крещеный люд, небитый сын, незванный гость; залетел сокол нещипаный; забежал красный зверье цельной шкурою!

Незваному гостю снесу голову? обрублю крылья *дикомыту соколу*,^[225] красного зверя разнесу мечом наполю!"

Слышит Ива Олелькович, как *Полконь-богатырь* похваляется; видит Ива Олелькович, как из-под копыт его бьет пыль столбом, по обе стороны пути трава стелется, высокие деревья с треском ломаются. Возгорелось у Ивы сердце молодецкое, поднимается он с мягкой зеленой муравы на ноги; зовет верного своего конюшего и приспешника по имени; собирается Ива Олелькович, наряжается в доспехи ратные; смотрит — вместо шлема на суку висит красный шлык с побрякушками, вместо лат халат мухояровый, вместо меча бич с нахвостником, а вместо коня Юрка на четвереньках по лугу ходит да щиплет траву.

Рвет на себе Ива Олелькович светлые кудри, бьет себя в молодецкую грудь, стучит ногами о сыру землю и сыплет нечестные слова на свет божий.

Втапору *Полконь-богатырь* приближается, называет Иву Олельковича бабой *Бабарихою*, зовет его на бой помериться силой, изведать молодецество да посчитаться с хозяином за ночлег на муравленом ложе, за корм коню, за водопой, да, сверх того, за три шлема воды ключевой, да за воздух, здоровый и свежий, которым он вдоволь под чужим небом надышался, да за дневный свет, да за ясную ночь и *маленький ветрец прохладный*.

— Ох ты гой еси, нечистая сила, оборотень окаянный! — выговорил

Ива Олелькович. — Не серебром, не золотом расплачусь я с тобою! Отсчитаю я тебе за все три удара дубовой свинчаткой, не пожалею ни руки, ни силы, расщедрюсь, куплю у плеч твоих буйную голову! Становись на побоище! рой копытом просторную яму себе в упокой!..

Кипит Полконь яростью, вынимает широкий меч, разъезжает по чистому полю; а Ива Олелькович надевает на голову красный шлык с погремущками, набрасывает на плеча халат мухояровый, вооружается бичом с долгим нахвостником, гладит Юрку по косматой голове, ударяет по плечам богатырской рукою, вскакивает ему на спину... Юрка взвивается, становится на дыбы и несет своего барича, сильного и могучего богатыря Иву Олельковича, на побоище с Полконем.

Разъезжаются добрые молодцы по чистому полю, кидают хоботы по темным лесам; разъезжаются, своей силой похваляются, друг другу нечестные речи говорят.

Не две горы высокие сходятся, друг об друга ударяются грудью каменной, ломают промежду себя строевые леса; съезжаются два великие витязя: Полконь-богатырь да Ива Олелькович; стонет вся земля, прах вздымается, меркнет светлый день, горы вторят гул, лес колеблется.

Размахнул Полкрнь свой булатный меч. Закрутил Ива долгохвостый бич, Полконь мерит рубить наполы. Ива метит очи выстрекнуть.

Засверкал меч в долу молнией, увернулся Юрка в сторону, меч Полконеv ушел в землю с рукояткою и с рукою до плеч исполинскою.

Полконь жилится, сильно тужится, хочет руку свою вытащить, да не стало сил могучих в нем: глубоко рука в землю врезалась.

Усмехается Ива Олелькович, потешается; на резвом Юрке вокруг Полконя проезжается да сечет его вдоль спины бичом шелковым долгохвостником.

Взмолился Полконь, возговорил не своим голосом:

— Государь ты мой сударь, Ива Олелькович! не сбивай ты меня с бела света долой; ты помилуй свою Мириану Боиборзовну, не щепи, не ломай ты ей косточки, ты не рви, не терзай тело белое, не жури ты меня, не серчай на меня, не пойду я вперед со двора долой, не сведусь я вперед с ясным соколом!

Чудится, мерещится или наяву видится Иве Олельковичу. В Полконеvой коже в лицо узнает он свою Мириану Боиборзовну.

Бросает Ива Олелькович бич-долгохвостник, соскакивает с Юрки, кидается к Мириане Боиборзовне, обнимает ее, прижимает к богатырской груди; заголосила Мириана Боиборзовна не своим голосом.

Очнулся Ива, смотрит: не Полконь, не Мириана Боиборзовна, а лежит

под ним верный конюх его и приспешник Лазарь-сказочник, посинел от крику.

Вскакивает Ива, вскакивает Лазарь, смотрят друг на друга и не верят очам своим; Ива дуется, Лазарь рад, что его сдавил государь барич, а не нечистая сила, которая преследовала его и наяву, и во сне.

Долго ли стояли Ива Олелькович и его верный конюший Лазарь-сказочник, между *тем*, что видели они во сне, и *тем*, что чудилось им наяву, если б до слуха их не коснулся конский скок и вскоре плесканье воды.

Невдалеке от себя заметили они, сквозь деревья, всадника, который ехал вброд через реку. Он был в шелковом кафтане, с меховой опушкой, перепоясан туго кушаком, на голове обыкновенная шапка, на ногах сапоги с оторочкою; перед ним на седле сидела красная девица в малиновой ферязи, на голове накинуто покрывало; припав к груди всадника, она склонилась на левую его руку; ее ножки в желтых шитых сафьянных сапожках обнажились немного и свесились как будто на показ.

Ива, еще полный мыслей о злодее Полконе и об Мириане Боиборзовне, бросился к своему коню, догадливый Лазарь распутал, взнуздал его.

— Скоро, скоро, Юрий! — проговорила девица. — Юрий, Юрий, люди! — вскрикнула она опять, прижавшись еще более к всаднику.

Незнакомец оглянулся, увидел наших витязей и пустился стрелою в сторону.

— А! — закричал Ива Олелькович, вскочив на седло и — вместе с седлом перевалился на другую сторону. Злодей Лазарь позабыл подтянуть подпруги.

Ива Олелькович с помощью Лазаря встал на ноги и, озлобленный неудачею, догонял всадника быстрыми своими очами — но...

Всадник с добычей скрылся за лесом — и след простыл.

Когда конь был готов, богатырь сел, подобрал поводья, приударил пятami; но вдруг, задумавшись, остановился и опустил поводья.

"Кощей ли это? — думал он. — Может быть, опять наваждение Кощеевой нечистой силы, конь чутьем покажет правый путь".

Конь, досыта наевшись тучной, вкусной травы, хотел питии потому, не затрудняясь в выборе пути, подобно своему храброму всаднику, повернул прямо к реке: Река была широка, да не глубока; конь прошел до середины, остановился и опустил морду в воду...

"Чует путь", — думал Ива.

Напился богатырский конь, начал бить по воде копытом.

"Путь кажет прямо", — думал Ива и вздернул повод, приударил своего

коня, который, обрызгав его с ног до головы, готов уже был склонить колена, прилечь и перевернуться на мелких струях с боку на бок.

Переехав реку, Ива Олелькович пустился тропинкой, по которой проехал незнакомец с девицею; Лазарь не отставал.

На расстоянии двух выстрелов из лука от реки дорожка, пробиравшаяся чрез небольшой лес, вышла в открытую долину. Направо, около густой рощи, стояли Боярские палаты, обнесенные частым тыном; налево тянулось огромное село.

Дорожка шла около палаты; едва только Ива поравнялся с воротами, вдруг раздавшийся необычайный крик в доме обратил на себя его внимание.

Ива остановился.

Крик увеличился; из дому высыпали люди; все вопили, все крестились, все бегали.

— Верно, покойник, — сказал Лазарь Иве Олелькови-чу, — грех проехать, Боярин, не поклониться, не вкусить и не испить за упокой души.

Ива Олелькович поворотил коня на Боярский двор. Подъехав к крыльцу, соскочил с седла, отдал коня Лазарю. Лазарь привязал и своего, и Боярского к железному кольцу — и вот богатырь и его конюх идут на широкое крыльцо.

Хозяева и все домашние умолкли от удивления и страха, когда увидели нежданных вооруженных гостей.

Боярин дома, человек уже пожилой, в утренней одежде без пояса, с недоумением и со слезами на глазах смотрел, как Ива Олелькович проходил сени, ни на кого не обращая внимания.

— То богатырь, могучий и храбрый витязь Ива Олелькович, принимайте его за белые руки да сажайте за браный стол на поминки! — сказал Лазарь Боярину.

— Родные мои, храбрые витязи, воители, дорогие гости! рады мы вам, хоть не в добрый час пожаловали! — проговорил Боярин и пошел вслед за Ивою Олельковичем, который между тем пробрался чрез толпу челяди в светлице, в другую *камару*.

Там стояла в углу тесовая кровать; две женщины рвались и рыдали подле кровати; одна средних лет, тучная, румяная, в сарафане и в богатой шубейке; другая старая, в простом балахоне.

Нараспев голосили они жалобы и обнимали по очереди что-то неподвижное, лежавшее под шелковым покрывалом.

"Так и есть, покойник!" — думал Лазарь, пробравшись вслед за баричем и просунув голову между толпой рыдающих девушек.

— Дочь ты моя милая!.. Ненилушка Алмазовна! погубила тебя нечистая сила, — вопила тучная женщина, стоявшая подле кровати.

— Дитятко ты мое красное, вспоенное мною и вскормленное! что с тобой подеялось, что сталося? — вопила другая.

— Ох вы, девушки, голубушки! бегите, ведите скорее попа с крещенской водой, да с крестным распятием!

— Ох ты, голубица моя сирая! не стало на тебе ни личика, ни образа!..

— Ох, за что осерчала на нас! мое детище? зачем стала ты камнем могильным?

— Что скажет твой красный жених, суженый, ряженный Якун Гюргович?..

Вот приходит иерей с крестом и водою крещенской, ему дают дорогу к кровати. Ива и Лазарь приближаются вместе с ним и видят на кровати, под покровом, в ночной повязке лежит безобразная личина, белая, как лик покойника, освещенный луною.

Удивленный иерей спросил всех взорами: что такое сталося? Все вдруг заголосили еще более.

Боярин приблизился к попу и начал было говорить:

— Отец иерей! Ты ведаешь мою Ненилу.."

— Ведаю, Боярин...

— Ох! крести, мой батюшка, крести! кропи святой водою! — вскричала Боярыня, увидев попа, сорвав покрывало с постели.

Священник, богатырь Ива и конюх его Лазарь, не знавшие до сего времени, что значит суматоха около кровати, отступили от удивления.

В постели лежал продолговатый обтесанный камень с изображением лица; на голове истукана была спальная девичья повязка.

— Крести, мой батюшка, окропи водосвятием! — продолжала кричать Боярыня.

— Вот что сталося с Ненилушкой, — продолжал Боярин заливаясь слезами. — Смотри, отец иерей!..

— И душечка в оконце вылетела в одной только белой сорочке с шитой бахромочкой, да в ферязи, да в сапожках желтых!.. Родная моя! остался только на нашем святом месте камык, ^[226] болван тесаный!

— То истукан идольский, — прибавил иерей и, отдав назад дяку кадило и кропило, отступил от кровати.

— Кади, кади, батюшка! — приговаривала Боярыня.

— Кропи, кропи, отец! — приговаривала мама, кладя земные поклоны. — Ох, шевелится, святой, шевелится...

Ошибалась она: окаменевшая Ненила не принимала прежнего своего

образа.

Потеряв всю надежду на возвращение красного образа Ненилы Алмазовны, Боярыня и мама завопили горче прежнего; сенные девушки и все домовины, подставив левую руку к левой щеке, а правую рукою придерживая локоть левой руки, также точили слезы и всхлипывали в подражание горести Боярской.

Богатырь Ива, стоя подле кровати, задумался: не разрубить ли камень наполю? А Лазарь, не поняв еще ничего из всего им виденного, в сторонке расспрашивал у одной сенной девушки: зачем одели камень в одежду девичью и выгоняют из него нечистую силу?

Вот что рассказывала сенная девушка:

"У Боярина и Боярыни было одно детище, родная дочь Ненила Алмазовна; весела она была всегда и радостна; послал ей бог суженого-ряженого, Княжеского гридня, Якуна Гюрговича; уж готовили свадьбу, яства сахарные, варили пива ячные и канун. После Троицына дня быть бы свадьбе; вдруг опечалилась Ненила Алмазовна, зачала лить слезы и метаться во все стороны; призвали вещунью; пропустила она сквозь решето воду, вылила в стекляницу, разбила надвое яйцо, перелила его три раза из скорлупки в скорлупку; одну выпила, другую вылила в стекляницу; поставила на окно, накрыла его шелковым платком да примолвила: утро мудренее вечера, утро скажет праведное слово. Наутро пришли раным-ранехонько; открыли стакан — в стакане храм божий. Венчайте, говорит, не отлагайте, а то быть худу; поверили ворожее, назначили на другой день свадьбу; в уденье был сговор; замертво вынесли из светлицы Ненилу Алмазовну после сговора, уложили в постель; Боярыня родительница и мамушка благословили ее, пошли спать; а в ночь совершилось диво дивное: красная Ненила обратилась в камень...

— Э!.. — сказал Лазарь, приложив палец ко рту. — Кощей бессмертный боярышню Нениловну вашу унес так же, как и Мириану Боиборзовну; только Мириану Боиборзовну увез и с душой и с телом в одной сорочке. И... да мы видели, как он и скакал с Ненилой Алмазовной на черном коне.

Пораженный сей мыслию, Лазарь бежит к Иве Олельковичу.

— Государь барич! что попался нам встречный, на коне, то Кощей скакал с душою Ненилы Алмазовны. Не тужи, Боярыня! барич мой не даст погибнуть Нениле Алмазовне; он едет погубить Кощея, отнять у него Мириану Боиборзовну и всех красных девиц и молодых, что он похитил.

— Ой? — вскричал Ива, поправив шлем.

— Ой? — вскричала Боярыня. — Помоги, отец родной, господин

богатырь честной, не дай погибнуть Ненилушке!

— Помоги, господин воитель, — возопила и мамушка. Сам Боярин, старик, также поклонился до земли Иве

Олельковичу.

Ива Олелькович пошевелил широкими плечами и, не говоря ни слова, пошел вон из терема.

Все провожали его; но Боярыня привыкла не отпускать никого в путь без хлеба и соли...

— погоди, постой, господин богатырь! — вскричала она и сама бросилась к поставцу, вынула поднос с ягодником, налила в чашу и поднесла Иве, который был уже па крыльце. Томимый жаждою, он выпил хмельного ягодника: целую братину, а между тем мама побежала на поварню, слуги бросились к полкам, к окнам, к столам, и в несколько мгновений трапеза была стащена со всех сторон, на столе стояло блюдо с рыбой, горшок каши и пирог, который маша уже резала на части. Иерей благословил яство, а Боярыня влекла Иву Олельковича к столу, усадила дорогого гостя и снова, налив в кубок хмельного меду, поднесла ему, Ива выпил и взял поданный ему на деревянном блюде кусок пирога.

Мама угощала Лазаря в сторонке.

Потому ли, что в кубок меду, которым Ива утолил жажду, нечистая сила подсыпала какого-нибудь зелья; или потому, что могучий мед бывает иногда сильнее могучего богатыря: сбивает с ног, выбрасывает из седла и бьет в голову так, что голова перекатывается с плеча на плечо, только у Ивы Олельковича закатились очи как солнце, а голова повисла на плеча как туча.

Но воображение его не опьянело вместе с ним: оно продолжает потчевать его, подает ему то печеные сгибни, то пересыпные караваи, то перепечи крупчатки в три лопатки недомеров, то четь хлеба, да курник подсыпной с яйцами; то щук паровых, то росольники пироги; оно подносит ему в золотых кубках олюю (пива), да меду красного, да сливовицу на Угорском вине; то опять лакомит его, подает ему; оладьи с сытой, да греночик, да горошек-зобанец, да киселек клюквенный с медом, да тертую кашку с сочком с маковым, да мазулю...

Пироги сами режутся, сами кладутся прямо в рот, горошек-зобанец прыгает с блюда и прямо в рот, мазуля сама тянется из горшочка и капает прямо в рот; олуй сам пенится в кубок и льется прямо в рот.

Ива не успевает ни пережевывать, ни выпивать; хочет оттолкнуть руками, рук нет; хотел с досады стукнуть ногой, ног нет.

По горло полон Ива; нет сил, а пища так и лезет, а питье так и льется;

тошно Иве.

Но вот идет к устам Ивы кубок, наполненный огнем, наклоняется, хочет уже литься, капает на язык; Ива отворачивает голову, катится со стула на пол, валится стол с яствой и посудой, звенят блюда и братины серебряные, стучит железная богатырская броня.

И Боярин, и Боярыня, и иерей, и Лазарь, и мамами все домовины крестятся, с ужасом отскакивают от Ивы, челядь бежит врозь; все уже рассказывают друг другу, творя молитвы, что нечистая сила и богатыря обратила в камень.

Лазарь, шатаясь, подошел к баричу, наклонился, выпучив очи, посмотрел ему в лицо, хотел что-то сказать: язык не говорит; хотел приподняться: спина не разгибается, а ноги подкашиваются; замутило доброго молодца — и он лежит без памяти подле барича.

На просторе храпит Ива Олелькович богатырским сном; подле него лежит на спине Лазарь; во сне ловит он по широкому полю отвязавшегося коня.

Проходит день, проходит ночь, наступает утро; просыпается Лазарь, протирает глаза, осматривается; пробуждается Ива Олелькович, протирает глаза, осматривается: никого нет, кроме Лазаря; в ногах опрокинутый стол, лежат куски и крохи хлеба, рыбы и мяса, рассыпана соль, опрокинуты братины, разлиты пиво и мед.

Приподнимается Ива. Поправляет шлем, смотрит на бок: тут ли меч? берет копьё. "Коня!" — говорит он Лазарю, а у Лазаря полон рот пирога.

Вот герои идут вон из покоев, сходят с высокого крыльца; кони стоят привязаны.

Увидев витязей, домовины опять разбегаются по широкому двору и из-за углов смотрят — что будет.

Ива сел на коня; Лазарь на другого... Пустились долой с чужого двора.

VI

Если бы спросили меня читатели, по какому направлению пустился Ива Олелькович? вперед или назад? своротил в сторону или поехал прямо?.. Можно только сказать, что во время выезда его со двора Боярского светлое солнце сыпало лучи свои прямо в глаза ему; после того стало печь ему правый бок; потом, когда он проехал гору, левый; когда спустился с горы, опять правый; когда проехал лес, опять левый, и потом спину... Таким образом скачет мой богатырь на север, на юг, на запад, на восток; а его конюх Лазарь за ним хоботом; скачет через горы, бологи, холмы, леса, дебри, дубравы, боры, луга, болони, бугры, поляны, реки, ручьи, потоки, города, городища, пригородки, посадки, застенья, вежи, торги, станы, селы, селища, деревни, становища, скачет так же, как и в первый день, без отдыха, без устали.

Везде народ преследует его очами, как явление необыкновенное, как огненную змею, пролетающую ночью по небу. "То, верно, Гюрга", — говорят Бояры, купцы, торговцы, люди житые, селяне, огнищане, челядь, смерда и вся простая чадь. "То, верно, Гюрга на белом коне со своим оружником".

Вот почти прошел день, кони замучились, едва переступают, напрасно Ива Олелькович бьет правой своею ногой утомленного коня: нейдет, воротит с дороги в мураву.

Серdito соскочил Ива с седла, бросился на зеленый луг.

Его верный конюх и приспешник Лазарь пустил коней пастись, а сам задумался: как помочь горю? без пищи не умирать!

Видит он вблизи, в долине, погост. Пойду, думает, клич кликать... и пошел; но воротился, взял своего коня, поехал.

Вот — въезжает он в село, остановился посреди села и закричал, как Татарский бирюч:

— Эй, люди мирские! Старцы сельские и вси добрии мужи, ходите!

Как будто около какого-нибудь чуда, собрался народ вокруг Лазаря, и вот возгласил он:

— Едет храбрый витязь и могучий, сильный богатырь Ива Олелькович; иди к нему весь крещеный люд с честью на поклон; овый с хлебом, с солью, овый с медом, овый с ковригами, овый с караваями, и со всем, оже дал бог на угодые, на снеть и на веселье; молитесь ему: помиловать вашу волость от силы ли нечистой, от зверя ли алчного,) от

змея ли огненного и от иных приворотов, оже вередих живот ваш!

Земно кланяется весь сельский крещеный люд Лазарю и собирается на поклон к богатырю, защитнику; сроду не видали они богатырей, а только слышали про них, торопятся.

И вот вслед за Лазарем идут старцы сельские и селяне с хлебом и с солью.

Вот приходят к богатырю Иве Олельковичу, кланяются ему в землю., кладут перед ним живого связанного ягненка, хлеб и соль, деревянные блюда с пирогами и ставят кувшины с квасом и с пивом; а Ива и с места не поворотится, и головы не преклонит.

Заботливый Лазарь, зная обычай своего барича, что он сам ни до чего руки не протянет, расстилает перед ним посланец шитый, разламывает каравай надвое, наливает в чашу пива ячного и ставит подле него.

Ива совершает трапезу. Лазарь, стоя позади его, также отвеживает крупеника, а весь сельский крещеный люд стоит перед богатырем да дивится силе его, кованой одежде, железной *торченой*^[227] шапке, мечу-кладенцу, длинной сулице, серому коню, а всего более огромной деревянной ступе, которая очень похожа на ступу, в которой бабы лен толкут.

Один молодец, из пришедших на поклон, подкрадывается к Лазарю, спрашивает его на ухо: "Что это за диво-с?"

— То ступа, что Баба-Яга ездит да пестом погоняет, сильный и могучий богатырь отнял у нее!

Перекрестился молодец и передал шепотом всем прочим весть про чудо.

Дивуется толпа селян на ступу. Она уже в глазах их не простая ступа: а стены толще, чем у обыкновенной ступы, да и дерево, из которого ступа сделана, бог весть, дерево ли аль не дерево.

Не одна *простая чадь*, но и мы, просвещенный, крещеный люд, не своими глазами смотрим на какие-нибудь кресла, в которых сидел великий человек, или на старую его изношенную одежду; часто и мы думаем, что у него и кресла должны быть по крайней мере втрое шире и чуднее обыкновенных, и одежда совсем особого покроя.

Между тем Ива Олелькович кончил свой обед, поднял с земли тяжелый свой шлем и возложил его на голову; это было Лазарю знаком: готовить коней в поход.

Седлая их и взнуздывая, Лазарь, чтоб угодить своему витязю и не сбиться с дороги, спросил у толпы селян: "Куда лежит путь за тридевять земель в тридесятое царство?"

Селяне посмотрели друг на друга, как будто спрашивая, кто знает туда дорогу; но все молчали; только один старик, опираясь на костыль, вышел вперед и, важно сказал:

— Може, то Заморское царство треба господарю богатырю?

— Вестимо Заморское! — вскричал Лазарь.

— Заморское! — повторили все прочие селяне.

— Коли Заморское, то лежит оно за синим морем, — отвечал важно старик, взявшись обеими руками за костыль и склонил его перед собою. — А путь к нему на село Верхотурье, где был торг в княжение Государя Князя Станислава Романовича, а потом путь лежит великим озером к Лукоморью.

— Много ли езды будет? — спросил Лазарь.

— Как поедешь. До Верхотурья три поприща, да за Верхотурьем, може, толико-жде.

Ива сел на коня; весь крещеный люд ему поклонился до земли, пожелал здравия и благополучного пути; и вот герой наш понесся лисьим скоком в гору, а Лазарь за ним хоботом.

Проводив сильного и могучего богатыря Иву Олельковича глазами в гору, весь сельский крещеный люд начал уже изъяслять удивление свое на словах, восклицая и рассказывая друг другу все, что каждый видел, ибо каждый видел все по-своему: и речи и замечания одного было новостью для другого. Наговорившись вдоволь, они принялись собирать остатки трапезы, чаши и кувшины, но сколь был велик ужас всех, когда увидели они в траве ступу Бабы-Яги. Второпях Лазарь забыл ее.

Долго ходили они около нее, не зная, что делать и как сбуть, проклятую, с своего поля, наконец решили идти в приходский погост, просить совета или молитвы.

Идут в погост; никто не остается сторожем около ступы.

Рассказывают иерею про все случившееся, зовут его. в поле, собирается иерей с крестом и причетом; идет, преследуемый крестьянами села и погоста. Приближаются со страхом к тому месту, где обедал Ива. Поле чисто.

Баба ли Яга, догонявшая Иву Олельковича на помеле, отыскав на дороге свою ступу, отправилась в ней или какой-нибудь проезжий, полагая, что это простая ступа, толчая, взял ее как находку, только ступа исчезла с того места, где забыл ее беспамятный Лазарь.

— А! сгинула, нечистая, как *повидела знамение!* — вскричали селяне с радостью, что место их свято; только иерей досадовал, что ступа исчезла не при нем и ему не удалось даже взглянуть на нее.

Подивились, поахали, разошлись; а Ива скачет да скачет вперед.

VII

Едет Ива, скачет Ива Олелькович; опять дивятся на него встречные и поперечные, прохожие и проезжие, кланяется ему почтительно, как надлежит храброму и могучему богатырю Русской Сказки.

Вот едет он уже много дней без всяких приключений;

Придет время обеденное, Лазарь оставляет богатыря своего и чистом поле под развесистым дубом, торопится в ближнее село клич кликать, чтоб шел народ поклониться сильному могучему богатырю с хлебом и солью. Приходит вечер, Лазарь опять клич кличет. Таким образом Ива Олелькович и сыт, и пьян, и всем бы доволен, да недостает ему чести и славы, да Мирианы Боиборзовны... Подобные недостатки хоть кого поторопят; и вот, полагая, что он уже проехал по крайней мере десять царств, спрашивает Ива Олелькович у прохожих:

— Се кое царство?

— Русское, батюшка государь богатырь, — отвечают ему.

— Русское? — вскрикивает с гневом Ива Олелькович и едет далее.

— Се кое царство? — спрашивает он опять.

— Русское, — опять отвечают ему.

Ива Олелькович выходит из себя; он не верит, останавливает всех и каждого и допрашивает: "Кое царство?" — «Русское», — отвечают ему, и Ива Олелькович с досады мстит коню, гонит его и в хвост и в голову, чтоб поскорее выбраться из Русского царства; скачет, скачет, проходят дни, а Русскому царству нет конца.

— Кое царство? — спрашивает опять Ива Олелькович у проезжего.

— Русское, — отвечает он.

— Блюдися лжи, окаянный! порублю наполю! — вскрикивает исступленный от нетерпения витязь и выхватывает меч

— Не ведаю, не ведаю, государь богатырь! — кричит прохожий, припав к земле. — Не ведаю, може, и Рязанское!

— А! — говорит Ива и едет вперед. Новый прохожий разочаровывает его опять; опять Ива торопится выбраться из царства Русского; да и кого не лишит подобная вещь ангельского терпения? Вот уж другая луна народилась в небе; а Иве Олельковичу остается еще проехать двадцать восемь царств, чтоб попасть в царство тридесатое, куда, по обыкновению, нечистая сила уносит Царевен, Княжен и красавиц; где Ива надеется найти и свою Мириану Боиборзовну.

Вот спускается однажды Ива Олелькович с крутой горы по извилистой дорожке. В долине видит он большое село, разбросанное по широкому лугу над рекою. Среди села хитрая церковь о пяти верхах, с высокою звонницею; за синим отдалением видит он белокаменный город.

Ива Олелькович верить не хочет, чтоб село было не Верхотурье, а город не тридесятое царство. Недалеко уже было до села, как вдруг поднялся в селе жестокий трезвон.

— То не благовест, Боярин, — говорит Лазарь Иве Олельковичу. — Повидь, то набат! народ в смуте; бабы и девки крик подняли, бегут к погосту. Боярин, то вражья сила идет!

Ива оправился на седле. Подтянул узду, попробовал рукою, тут ли меч, взглянул на конец копья и потом окинул взорами село и окрестности. Где вражья сила? с которой стороны?

Но вражьей силы видом не видать; только в селе час от часу более гудят колокола, а народ стекается к церкви. На паперти стояло несколько седых старцев, опиравшихся на батоги; женщины отделились, и окруженные мужики стали в ряд, как пред судилищем; слышны были вопли их; видно было, как снимали они с себя одежду, обнажались и потупленные взоры их стыдились и людей, и божьего света.

Вдруг раздался между ними ужасный визг и поднялся общий шум и крик.

Одну из женщин, обнаженную, все прочие повлекли за волосы, поставили в плуг, привязали косами к оглоблям и с исступленными восклицаниями, ударяя ее лозами и поясами, погнали вон из селения. Несчастливая была молода и прекрасна; пораженная ужасом, но полная жизни и силы, казалось, что без всякого напряжения повезла она. плуг в обход селения. Скоро, однако же, силы ее истощились, и удары посыпались на нее; но, изнеможенная, она влекла еще плуг. Прорезываемая полоса земли валилась на сторону и орошалась кровью, которая струилась по белому телу бедной женщины.

Покуда женщины совершали ужасный обход, старцы и все мужики собрались на берегу реки и ожидали приближения их.

Между тем Ива Олелькович спустился уже с горы и подскакал к толпе селян; неожиданное появление витязя на белом коне поразило их, все поклонились ему в ноги, коснувшись челом до земли.

Удатный витязь, не сделав еще вопроса, ожидал уже ответа и, по обыкновению, серчал за молчание.

Догадливый Лазарь не допустил барича своего выйти из себя и спросил громким молодецким голосом: для чего они женами, а не волами и

конями землю пашут?

— Родной-ста отец богатырь! — отвечал, приподнявшись, один из старцев, Тиун селения, лет за сто от роду. — То не баба и не девица, то бесова ведьма с хоботом, жена Посадского Яна, спозналась она с нечистою силою-ста да и пьет кровь христианскую, морит православных без милосердия. Мы между-собу и умыслили: чему на миру народ мрет наповал, валится тый, аки сухой лист с дерева? И смекнули между-собу: демонский-де дух в селе; и собрали всех жен и девиц на погост; вот-ста, повидим, у поганой Яновны хобот в две пяди; и указала нам, честной богатырь, осударь, вещая Симовна: запречи Яновну в плуг, да прорезать землю вокруг села, да камык-ста ю к горлу, да и в воду; тем-де, бает, и спасение от повальной смерти.

Получив подобный отчет от сельского Тиуна и видя всю законность дела, Ива Олелькович готов уже был отправиться далее; но новый вопрос, сделанный Лазарем, остановил его:

— Иде же путь лежит за тридевять земель в тридесятое царство?

— Не ведаем, отец родной, господин приспешник богатырский; по совести не можем-ста указать; знает про то вещунья Симовна; все ведает: про коня ль пропадет, про обилье ли жита: "Внимай, бает, время пришло!" — "Зелен, баушка". — "Зелен, да хитер, проведет да с колоса опадет: не довезешь до тока". — "Смотрим — право слово, так!"

— Давай Симовну! — вскричал Ива Олелькович.

— Обгоди, честной богатырь, сотвори милость! дай утопить ведьму окаянную, — сказал Тиун, низко кланяясь.

— Обгодим, боярин! — сказал и Лазарь, которому хотелось взглянуть в глаза окаянной ведьме.

Ива Олелькович согласился. Очень равнодушно смотрел он, как изнеможенную жену Яна притащили к реке и как навязывали ей на шею огромный камень.

— Словно баба простая прикинулась! — рассуждал вслух Лазарь, смотря на несчастную жертву предрассудка.

— Какая-ста простая! неспроста уродилась, всем красам краса, око не дозрит иной такой: невидаль! стыдно моя-вить, а весь хрестьянский мир смутила: зрак — звезда денница, лоно словно пуховое изголовье, бела словно кипень, румяная словно багр червленица! Снарядится узорочьем, повяжет увясло,^[228] аль серьги жемчужные взденет, аль слово молвит устна...

Слова Тиуна прервались внезапным криком.

В толпе селян был молодец со связанными руками; несколько человек

держали его как полумертвого. Очнувшись от беспомощности, он обвел кругом помутившиеся взоры, остановил их на толпе женщин, подошедших уже с своею жертвою к реке, вдруг рванулся с воплем, бросился на землю пред Тиуном и жилыми сельскими людьми и возопил:

— Пустите, родные мои!.. Отдайте мою Яновну аль повелите и мне сгинуть под волною водною!

— То Посадский Ян! — сказал Тиун Иве Олельковичу. — Свелся с ведьмой, да и стоит за нее; молвят, не праздна от него окаянная!

Никто не внимал молитвам несчастного Яна, никто и не думал пощадить жену его. С отчаянием обратил он опять взоры свои к реке...

В это время раздалось резкое восклицание, сопровождаемое общим криком женщин. В реке вода плеснулась, струи запенились, как будто в образовавшемся водовороте...

Ян заскрежетал зубами...

Рванулся... веревки лопнули, все державшие его разлетелись в стороны...

Ян быстро бросился к реке и с высоты берега рухнулся в волны...

Исчез под водою...

Образовался новый круг на реке. Восклицание общего ужаса отозвалось в диком лесу, за рекою.

Все обомлели.

Вдали, по течению быстрой реки, выплыл Ян — и не один: в объятиях своих держал он, казалось, Русалку с распущенными волосами.

Несколько мгновений кружится она на волнах, борется с быстринной... погружается снова...

Пенистые пузыри показываются на поверхности воды, лопаются с брызгом...

Река струится спокойно...

VIII

— Веди к Симовне! — восклицает вдруг Ива Олелькович.

— Свелся с ведьмою, сгинул и сам! Ах ты сила небесная! как волокла она его на дно! А он бился, бился, мотался, мотался! хотел урваться да выплыть...

— И вестимо! — произнесли со вздохом несколько голосов в подтверждение слов Тиуна.

— Иде же Симовна? — вскричал снова Ива Олелькович.

— Ну, хрестьяне, давай сюда Симовну! — подхватил богатырский конюх.

— Видать, господин богатырь, Симовна с печи не встает; коли изволишь, ступай сам к ней, в истьбу.

— Указывай путь! — сказал Лазарь.

Тиун пошел вперед вожатым, за ним ехал Ива Олелькович, за Ивой Олельковичем ехал конюх Лазарь, за конюхом Лазарем шла толпа хрестьян сельских; а за хрестьянами сельскими толпа обнаженных женщин с песнями.

Только что вступили они в село, Тиун зашатался, ноги его подкосились, он грохнулся на землю, глаза загорелись, но взор стал неподвижен.

Ива Олелькович и Лазарь, остановясь, дивились, что сделалось с Тиуном.

Толпа селян подбежала к нему.

— Злая болесь, злая болесь! — вскричали все и понесли Тиуна в его избу. На пути, подобно ему, упали еще два человека.

— Злая бблесь! — повторили все с ужасом и побежали во все стороны.

Ива Олелькович и Лазарь остановились одни посреди селения.

Подле ближайшей избы сидел на пристьбе старик, опершись обеими руками на костыль, он свесил голову, очи его были закрыты.

— Эй, дедушка! — вскричал Лазарь. — Покажи, где сидит колдунья Симовна.

Старик очнулся.

— Симовна? — сказал он голосом, который был трогательнее горьких слез. — Проклятая! Кому еще в ней треба? Извела своим разумом мое детище!.. ведьма сама!.. Не одарь — злая болесь перевела весь хрещеный

люди!..

— Ну, дедушка, иди, указывай избу Симовны.

— Нету-ста, не иду!.. истьба ее на краю села: черный ворон укажет вам путь.

Лазарь поскакал вперед; Ива Олелькович за ним. На краю села, слева, стояла черная изба, отдельно от ряда, в ней были только два волоковые окна, как два глаза у Мурина; на крыше сидел и каркал ворон.

— Вот она, Боярин, — сказал Лазарь. — Изволь стучать в ворота, и в избу, коли изволишь, а я подержу коней.

Ива Олелькович слез с коня, отдал его и копье свое Лазарю, приблизился к избе Симовны и стал стучать в ворота мечом.

— Кто-с? — раздался хриплый голос из полуоткрытого окна.

— Яз! — вскричал Ива.

— Не время! — раздался голос ребенка. — Бабушка спит.

— Пускай! — вскричал Ива грозно. — Порублю мечом избу наполю!

Головка девочки высунулась в волоковое окно, взглянула на богатыря и опять спряталась, захлопнув волок.

— Пускай! — вскричал опять Ива. — Проломлю стену!.. усеку главу, проклятая!

Ворон прокаркал на кровле; ворота заскрипели, скатились на верях, как будто под гору, и ударились об стену.

Ива Олелькович вошел на тесный двор; потом влево, сквозь низкие двери едва пролез в темные сени; с трудом отыскал двери в избу, отворил, переступил порог.

— Кого божик послал? — раздался хриплый голос с печи.

— Яз! — отвечал Ива Олелькович.

— Поклонись, добрый молодец, мое дитятко, сватому божику, пресветлому образу!.. поклонись трижды до земли; табе здесь не час часовать, не год годовать, не век вековать; а принес тя божик спросать про красную девицу да про молодую молодицу. Вестимо ли?

— Ни! — отвечал Ива Олелькович. — Поведай мне где теперь моя Мириана Боиборзовна?

— Ты гори, гори, красно солнышко, не скоро закатывайся, по залесью останавливайся! — проговорила старуха, закашлялась и потом продолжала: — Ты свети, свети, красно солнышко, доброму молодцу вдоль пути, светлый месяц поперек пути!..

Ехать тебе, дитятко, чрез море сытицы; у того моря берега крутые пшеничные; вокруг него растет травушка шелковая; а по тому морю вместо кораблика плавает чарочка серебряная; а море то ни переехать, ни

переплыть; а можно чарочкою вычерпать да воздрание выкушать. А за тем морем, дитяtko, держать тебе путь через гору песчаную; а на ту гору ни взойти, ни въехать, ни конному, ни пешему, ни коня ввести на поводе; а на той горе стоит бел шатер полотнян; в том шатре спит, почивает сам богатырь; а вокруг того шатра ходит, горюнит да сеет крупный жемчуг-слезки красная девица. Взойди ты на полугорье зарею утренней, на гору красным солнышком, к красной девице подкрадись добрым молодцом...

Дари ты красную девицу светлым камнем и жемчугом, да шугайкой самоцветною, да увяслom аксаментным на золоте, зарукавьицем да перстнем с золотым венцом...

— Ну, ладно! — сказал Ива, очень довольный словами старухи. — Куда ж с двора? направо ли, налево ли?

— Налево, дитяtko, добрый молодец!.. Ты гори, гори, красно солнышко, не скоро закатывайся, по залесью останавливайся, ты свети, свети, красно солнышко, доброму молодцу вдоль пути, а ясный месяц поперек пути!.. Носить тебе, добрый молодец, кунью шубу до земли, соболью шапку доверху, будь над тобой милость божья до веку!

Покуда старуха кончила речь свою, Ива Олелькович хлопнул уже дверью, вышел вон из избы, вышел на улицу, поднял ногою заснувшего на лугу Лазаря, сел на коня и поскакал налево, по дорожке, которая тянулась широким полем.

Лазарь за ним хоботом.

IX

Скоро ли, долго ли, но Ива Олелькович доскакал до городских каменных стен, каких иному и на роду не писано видеть.

Вот богатырь приударил коня и пустился вихрем по улицам *застенья*. [229] Горожане, увидев его, со страхом разметались в стороны, скрылись в дворы; ворота заскрыпели, заперлись; стогны опустели; общий ужас быстро перелился по городу; только в конце улицы, упирившейся в каменную ограду, еще видны были толпы сбежавшегося народа около железных запертых ворот. С криком ломился народ в них; но ворота не отпирались.

Ива Олелькович подскакал к воротам; вся толпа с ужасом рассыпалась от него в стороны. На *прясле* [230] городской стены показались воины, вооруженные стрелами.

Они наметили на Иву Олельковича и конюха Лазаря.

Лазарь видит смерть неминуемую, хочет вскрикнуть, и только слово "Господи!" срывается с окаменевшего языка его, а рука невольно кладет на него крест.

— Стой! то хрестьяне! — раздается голос на стене. Лазарь повторяет крестное знамение.

— Повежь ны: кто еси? — говорит один из воинов, просунув голову сквозь *персь*. [231]

— Кланяем-ти ся, муж мой! сей есть государь и барич сильный и могучий богатырь, Ива Олелькович, а яз верный его конюх Лазарь! Ходим воююче на силу нечистую!

— Оле братие! во граде у нас печаль и вопль; идут Агаряне-губители; будьте нам гости и пособницы на силу Агарянскую! Повежду Княгине! Пождите мало!

Вскоре ворота отворились. Иву Олельковича встретили Княжеские люди и старейшие мужи с честью и повели через город. Улицы и стогны покрыты были народом; все кланялись богатырю и кричали: "Бог шлет нам, печальным, щит и меч на поганых Бессерменов".

У двора Княженецкого вышли навстречу Иве Олельковичу толпа девушек под белыми покрывалами, в кумачных, шитых золотом сарафанах и запели:

Ты взойди, взойди, красно солнышко,

Светлый божий день,
В высоту небесную!
Ты взойди, взойди, красный молодец,
Государь богатырь,
Во терем во Княжеский!..

Подле крыльца Княжеского терема Княжеские конюхи приняли коней от Ивы Олельковича и от Лазаря.

На крыльце встретила богатыря Княженецкая Боярыня вином на золотом подносе; Ива Олелькович выпил вино и пошел далее; в сенях, у дверей гридницы, встретила богатыря сама Княгиня Яснельда, в багрянице свех белой, шитой серебром ризы, и повела под руку в *стольный покой*; села на стул Княжеский, посадила Иву Олельковича подле себя и стала ему говорить нежным голосом:

— Государь ты мой, Ива Олелькович, велий богатырь и заступник наш! не утай от меня: ведаю я, ты идешь к Московскому Князю Димитрию службу служить и воевать с поганым Мамаем. У Московского Князя силы много, а враг от него еще далеко; а у нас уж на плечах сидит; приближается к моему отнему граду многое множество Татары поганой, а за ними идут Мурины...

Не успела еще Княгиня кончить речи своей, вдруг вбежал в гридницу бывший на стороже по пути Воронежскому воин.

— Идут, идут! — закричал он, в гриднице все возмутилось, загремели оружия.

Слова воина коснулись до слуха Яснельды; она вскочила с стула Княжеского и в страхе стала на колени пред Ивою Олельковичем, восклицая:

— Оборони, оборони нас, велий витязь и могучий богатырь!

— Любо погублю некрестную силу, любо головою повалю за Княгиню и за Белгород! — произнес громогласно Ива Олелькович и пошел вон из палат Княжеских.

Между тем как он шел к крыльцу, сопровождаемый Княжескими людьми, а Лазарь подводил уже ему коня, два старейшие мужа вынесли на огромном золотом блюде дары от Княгини: златой шлем с красным переным еловцем и огромный меч.

— Княгиня кланяется победным мечом и непроницаемым шлемом государю богатырю, Иве Олельковичу, и просит воеводствовати полком Белгородским, вести на пагубу злых Измаильтян.

— Сам, один иду! — отвечал Ива Олелькович; снял свой шлем, надел подаренный Княгиней; принял меч и поехал тихими шагами по улицам, покрытым народом. Все кланялись и благословляли его на подвиг.

Никто и не думал дивиться и считать невозможным, чтоб богатырь не мог восстать против целого войска: Витязи Князя Владимира были еще в памяти; притом же и пословицу: "*и в мнозе бог, и в мале бог*" можно было приложить к подобному случаю.

Вот выехал Ива Олелькович из *Крома*^[232] Белгородского, проехал *застенье* и пустился по полю по дороге, откуда ожидали нападения поганых Бохмитов.

Народ высыпал на *прясла* и смотрел сквозь *перси* на благодетельного нашего богатыря. Провожая его взорами, все единосердечно молились небу, чтоб оно ниспослало в нем спасителя городу и погубителя злых сыроядцев, безбожных Агарян.

Княгиня Яснельда, вдова средних лет, полная, как месяц, румяная, как заря, белая, как *кипень*, также взирая на нашего героя с выходца на высоком своем златоверхом тереме, вздыхала печально и, *шибе руке свои к переем*, говорила:

— Господи боже великий, призри на мя, смиренную, сподоби мя видети славного в человецех богатыря Иву Олельковича препоясанна победою и славою!.. Возврати его поздорову; то и земля моя поздорову будет!.. Похизи алчного врага ветром с юга и с запада!.. прорази его зноем *кромешным!*

Льются слезы из очей Яснельды, как речные быстрины.

Ива Олелькович не слышит восклицаний ее, не ведает, что дется в сердце Княгини; гордо близится он к табору вражьему, *спереди ему солнце сияет и добре греет, а по нем кроткий ветрец веет.*

Вот уже слышит Ива: ворганы тепут, и трубы гласят, и стязи глаголют; и видит Ива за редкой дубравой полки *незнаемый*.

— О! — восклицает он, поправляя и придерживая то шлем, который ему велик не по голове, то меч, который колотится об ноги коня и мешает коню идти.

"О! — думает Ива. — Уклоню силу поганую, аки лес, постелю по земли, аки траву под косою!" — и продолжает ехать вперед.

Кто бы не сказал, взирая на нашего сильного богатыря: "Твердая броня на могучих плечах, под броней храбрость, под шлемом быстрая мудрость, в очах горит ярость".

Вот раскаляет он свое сердце молодецкое, богатырское, разжигает коня ретивого. Запел бы он и любимую песню великана Усмы Хрусовича, когда

гнался великан за исполином Урютом, укравшим его Гремиславу, запел бы он:

Конь ты, мой конь, мои быстрые крылья!
Ты неси чрез поля, догоняй мне врага!
Как догонишь врага, расцелую тебя!
Подкую я тебя ярким золотом,
Вплету в гриву тебе камни светлые,
Я покрою тебя тканью, шелковой,
Тканью шелковой с золотой бахромой;
Я поставлю тебя во светлицу свою,
Я подсыплю тебе бисер сеяный,
Накормлю я тебя светлой манною,
Напою я тебя и сытой и вином;
Конь ты, мой конь, мои быстрые крылья!
Ты несись чрез поля, догоняй мне врага!
Не догонишь врага, изведу я тебя!
Подкошу я тебе все четыре ноги,
Копьем выколю-те очи ясные!

Запел бы Ива Олелькович, да проклятый шлем сердит" его, мечкладенец отбил бедро.

— Оувы тебе, окаянный!.. пожди, мало буявый!.. — кричит Ива Олелькович; но не узнаешь, на шлем ли свой кричит он или на рать Мугульскую, которая открылась за дубравой, расположенная на высоком холме, близ дороги.

У Лазаря также что-то не ладится; он часто слезает с коня и, то подтягивая подпругу, то поправляя узду, посматривает зорко на вражью силу и не торопится за богатырем.

Сам ли Ива Олелькович приударил коня своего, или неуклюжий мечкладенец стукнул коня невзначай по ребрам, только конь взвился, дал прыжок вперед... заржавевший *запон* у шлема отскочил, забрало скатилось на богатырское лицо, и вот вся голова Ивы Олельковича скрылась от света божьего в глубину железного шишака.

Конь несет; Ива Олелькович сдерживает его; но, не видя перед собою ничего, кроме темной ночи, правит его в сторону мчится дубравою и исчезает из глаз верного своего конюха и приспешника.

Оставим же нашего витязя скакать по предопределению рока,

обратимся к окаянным Агарьянам, Измаильтянам, Бесерменам, Таурменам, Мугулам и, наконец, Татарам, посмотрим, что они делают.

Когда Царь Мамай принял с любовью дары многоценные и книги писаны от Князя Литовского и от Олега Рязанского, ему и в голову не приходило думать, чтоб собралась туча на том небе, которое казалось так ясно под попечительною рукою Золотой Орды. Близ берегов красного Дона заложил он *облаву* и во ожидании любимой *травли* истреблял зверей, но передовые и сторожевые отряды его пускались уже в глубь России, особенно в Княжества, покорные власти Бохмитов.

Таким образом, один из любимцев Агарянского Царя, Табунан^[233] его войска Улан-Джаба, управляющий *отрядным конным знаменем шестой Луны*, зашел от Дона до границы Княжества Рязанского, разграбил несколько селений союзника Мамаева и расположился при Отоке, близ Белгорода, на отдых.

Призвав к себе одного из Джасаков,^[234] Табунан приказал ему с отрядом отправиться в близлежащий город и трубить, чтоб шли к Царскому Мамаеву Табунану, Улан-Джабе, на поклон с дарами и привели бы ему 20 бугаев,^[235] 50 коней и 100 овец.

Джасак собирался уже исполнить волю начальника, а Табунану, расположившемуся на ковре в своем Гыр,^[236] подали уже Джамбэ^[237] с чаем, вдруг увидел он, что из-за леса сторожевой отряд под командою Тайтзи-Чуана скачет во весь опор.

— Они, кажется, упились таусином и меряют бег тарпанов?^[238] — сказал Табунан.

— Вот наш Тайтзи! — вскричал один из подскакавших к Табунану Татар и сбросил с седла труп Тайтзи.

— Толпа собак-мосхов напала на нас из-за лесу и повалила урядника; мы ускакали. Несметная сила бежит следом, тысячи стрел летят за нами, но мы опередили их!

Татары зашумели вокруг Табунана. Все торопились седлать коней. Но Табунан, выслушав спокойно речь Татарина, допил джамбэ и вместо сборов приказал делать жертвоприношение убитому Тайтзи, назначив для сего трех быков, двадцать баранов и двадцать тузлуков курунгуну-араки^[239] и хара-араки.^[240]

С обычной молитвой походного Ламы тело возложили на костер, облили вином, обсыпали землю, убили быков и баранов, зажгли костер и кругом сего пала изжарили мясо.

Между тем как Тайтзи догорал, Табунан с своим отрядом совершал

память о убитом: ел мясо, пил вино.

Когда костер истлел, на пепел тела Тайтзи положили его одежду и оружие и в несколько мгновений нанесли огромную грудку камней, потом земли; на насыпи врыли столб и привязали к нему любимого коня Тайтзи — Чуана. Конь должен был издохнуть на могиле своего господина!

Совершив таким образом весь обряд жертвоприношения, Табунан сел на коня, и отряд его понесся вслед за ним, как метелица.

В сие-то мгновение богатырь Ива Олелькович, удержав стремление коня ударом головы своей, заключенной в железный шлем, о крепкий сук дерева и освободясь от несносного шлема, который разлетелся от удара вдребезги, мчался уже из дубравы вихрем на утекавшего врага.

— Оувы тебе!.. пожди мало! — кричал Ива, преследуя Татар.

Но Татары не ждуть: взвивают пыль по дороге, колеблют землю.

— Оувы тебе! пожди, окаянный! — повторяет Ива Олелькович.

И вот один отставший раненый Татарин, бывший в отряде Тайтзи, как будто вновь пораженный богатырским голосом Ивы, падает с коня и остается на дороге, не замеченный товарищами.

— Ага! — восклицает наскакавший на него Ива и приставляет тупой конец сулицы к груди.

Татарин вытулил очи, смотрит на богатыря и молчит. Обида богатырю: побежденный не просит пощады!

— А! — восклицает снова Ива и ударяет Татарина тупым концом сулицы в грудь.

Татарин зашевелил руками и ногами, ловит сулицу; но молчит.

— А! — восклицает опять Ива и поворачивает сулицу острым концом.

Между тем как Ива Олелькович меряет силы свои с бездушным Татаринком и поражает его острым и тупым концом копья в грудь, народ Белгородский, высыпавший на стены, видел все военные хитрости Ивы Олельковича; видел, как своротил он в лес и, пробравшись дубравою, вдруг хлынул на врага, обдал Татар страхом и трепетом и погнался за ними через поля и горы.

Всякий своими собственными глазами видел подвиг Ивы Олельковича и его победу, какой ни одна старина не запомнит.

Радостные крики огласили город. Сердце княгини Яснельды вздрогнуло, опало от полноты радостных чувств.

Народ высыпал из стен встречать героя. А Лазарь с слезами на глазах стоит уже подле него и уверяет, что Татарин по причине смерти своей не может уже просить о пощаде.

С громогласными кликами толпы Белгородцев окружают Иву

Олельковича, берут под уздцы коня его и ведут в город.

Громкие бубны и гулкие трубы провожают.

В воротах города встречают Иву старейшины.

От мала до велика народ весь на *стогнах* дивится.

— *Оле диво, чудо, братие!* — восклицают со всех сторон.

Вот опять при дворе Княжеском встречает богатыря хоровод дев; на крыльце Бояре подносят ему заздравную чару зелена вина, принимают его под руки, ведут в *мовню*, из мовни в Княжеские светлые сени; в сенях встречает его с приветом Княгиня Яснельда и ведет за столы белодубовые, за скатерти браные. Сажает Иву на первое место, наливает своими руками *Турий рог* питья медвяного, разламывает сладкую *перепечь* надвое; одну полу ему, другую себе.

Ива Олелькович, не обращая внимания на Яснельду, без обычного: "Спасибо-ста, Боярыня, Княгиня!" — берет и кушает.

Подносят ему с *челобитьем*: на серебряном блюде лебедя жареного, да щи богатые, да уху живой рыбы, да спину белой рыбицы, да куря под взваром, да перепечь крупичатый в меру, да блюдо пирогов кислых с яицы, да пирог росольный, да каравай яцкий, да маковник, да папошник с медом, да взвар со пшеном и с ягоды, да коврижку с узорьями пряную, да смоквы.

Подносят ему с *челобитьем* кубок меду, да ковш серебряный, лаженный жемчугом, пива ячного, да кружку злаченую в 12 гривен весом с олуем, да разные *кубцы* и *роги* злащены с медом и с вином Фряжским и Гречким.

Ест Ива досыта, пьет допьяна и молчит.

Велит Княгиня Яснельда петь своим красным девушкам-певицам песнь унывную.

Поют девушки песнь унывную:

Загрустила зоря, зоря-зоренька;

Зоря ясная опечалилася:

Ой вы, звездушки, вы, голубушки,

Вы подруженьки мои милые!

Не горите, светы мои, радостно!

Улетел мой сокол, ясно солнышко

Ходит по небу, небу синему,

Сыплет по миру... лучи светлые;

Позабыло меня мое солнышко

И покинуло меня красное!

Скоро ль, солнышко, ты воротишься?

С зорей-зоренькой ты обоймешься?
Не воротишься, обольюсь слезой,
Не воротишься, то потухну я,
Кинусь с горя-тоски в море синее!

Между тем как красные девушки поют, а Княгиня Яснельда обращается с приветами к Иве Олельковичу, он спокойно продолжает кушать и водить взоры кругом себя.

В Княжеской светлице много невидали.

Светлица с круглым выходцем на реку.

В светлице оконцы с писаными цветными стеклами *Варяжскими*.

Вокруг потолка выложено *черепом муравленым*.^[241]

Середа из белого камня.

Резной узорчатый потолок из черного дуба, да из белого дуба.

Палица с подзорами.^[242]

Лавки кругом устланы *полавочниками*^[243] шелковыми, бахромчатыми.

У стены *поставец*^[244] с кованою утварью.

На нем стоят *мисы* золотые, блюда великие золотые, кубки золотые, лаженные жемчугом и драгим камением, ковши серебряные червчатые, кружки, курганы, чары, чарки, лохани, турьи рога... Все золотое, серебряное, с узорочьями, с жемчугом, бисером и самоцветными камнями.

Ива Олелькович в первый раз видит такое богатство, но он не дивится, не *чюдится* ничему.

Но в какой восторг пришел Ива Олелькович, когда с левой стороны светлицы, чрез открытую дверь увидел *оружницу*. На стене червчатый кованый щит, и кольчатые доспехи, и меч *обоюду острый* с чешуйчатым влагалищем, и лук с *налучнею*, с рогами красного золота, и тул, полный стрел, перенных орлиными перьями, и высокий шелом с драконом-змеею.

Не замечает Ива Олелькович, как Княгиня Яснельда выпивает за здоровье богатыря, спасителя Белгородского, турий рог меду сладкого.

— Во здравие! — говорит Княгиня.

Ива не слышит. Продолжает рассматривать, любоваться длинною сулицей, которая стоит в углу, и палицей, которая лежит на подставах.

— Что не промолвишь, государь Ива Олелькович, красного словечка? — говорит опять ему Княгиня.

— Ась? — отвечает он, устремив взоры на *стяг*^[247] *наволочитый* и

хоругви, тут же расставленные около стены. Ива понять не может: что это за оружие? В Сказках об них не было ни слова. "Это, — думает он, — *еловцы* с богатырских шлемов".

Между тем Княгиня с досадою выходит из-за стола; встают Княжеские Бояре, *Думцы* и Княжеские Боярыни; молятся богу, кланяются в пояс Княгине.

Ива также не отстал от прочих; но во время чтения благодарственной молитвы за трапезу он уже был в оружнице и распорядился там.

Грустная вошла Яснельда в свой терем, приказав ублажать, покоить богатыря-спасителя и дорогого гостя в богатой одрине.

Ива Олелькович был ей по сердцу. Все странности его были для нее обидны; но нравились ей. "Это свойство великих душ", — думала она.

Женщины любят чудаков и храбрых.

Хотя Княгиня Яснельда не более года как произнесла над смертным одром Белгородского Князя, мужа своего: "О свете, мой светлый! како зайде от очию моею и како помрачился еси? Почто аз преже тебе не умрох!" Но время похитило у нее драгоценную скорбь о прошлом и заменило скорбью о настоящем.

Трудно представить себе влюбленную красавицу 14 столетия. В старину не то что теперь. Усладив сердце слезами, она припевала про себя:

Не воркуй во бору, голубица сизая,
Не кличь на струях, лебедь белая,
Ты умолкни, свирель голосистая,
И без вас тоска погубила меня!
Я напрасно кладу богу жалобы!
Что без милого мне сердцу близкого?
Скину я с головы венец Княжеский,
Сброшу с плеч багряницу золотную!
Мне родная земля как чужая страна:
Горем черным она вся усеяна,
Да слезами она вся поливана!

Боярыни, мамушки, нянюшки и дворовые Княженецкие девушки подслушивали ее, шептались и, смотря друг на друга, качали головами.

Но вот доложили Княгине, что богатырь Ива Олелькович, взяв в оружнице шлем богатыря Якуна, деда Княжеского, и стяг войска Белгородского, собирается ехать.

Княгиня не рассердилась на самовольство Ивы Олельковича. "Просите его остаться на праздник заутрия, просите!" — сказала она и разослала по очереди всех своих Боярынь просить Иву Олельковича остаться у нее гостить.

Хитрые придворные узнали, что конюший Лазарь был ключом к воле своего барича, и потому, не успев уговорить Иву лично, они угостили Лазаря; а Лазарь, доказав, что ни накануне великого праздника, ни в праздник ехать в путь не должно, убедил Иву Олельковича остаться в гостях у Княгини.

Между тем Княгиня Яснельда имела совещание с своими Княжескими Боярынями, а потом с великими и вящими мужами и думцами Белгородскими. Между прочим, на-утрие, велела она приготовить в саду своем полдник и празднество на весь мир. *Ключникам и ларечникам* приказала она выставить на свет все богатство Княжеское; *стольничим* изготовить многоценные яствы; *чашникам* выкатить бочки меду и пива и разных иных напитков.

Исправнику веселья собрать хороводы, скоморохов в харях, медведей, что пляшут, да в клетке птицу многоцветную, да птицу Индейскую с птенцы, да соколов с челичами, да зверя, иже есть ублюдок с хвостом... и многих разных иных дивных вещей.

Все готовилось по ее приказу.

Ива Олелькович после великого подвига спал еще крепко. Высоко вошло уже солнце, на звонницах Белгородских колокола загудели благовест.

Иве Олельковичу видится во сне Кощей:

Старик не старик, а сед как *лунь* и весь в морщинах; человек не человек, а с руками и ногами; зверь не зверь, а с когтями и с хвостом длинным, как вдаль извивающаяся дорога; птица не птица, а с красным клювом да с мохнатыми крыльями, как у нетопыря; конь не конь, а из ноздрей дым столбом, из ушей полымя.

Чудовище несет на себе Мириану Боиборзовну; вокруг него день не день и неуденье; ночь не ночь и не полуночь, а так что-то светлее полудня, темнее полуночи; а Мириана Боиборзовна, бледная, как утренний месяц, так и рвется, так и мечется, а слезы из очей как перекаточный жемчуг.

Взбурился Ива Олелькович. Хвать за шлем — шлем к столу прирос; хвать за меч — меч к бедру прирос; хвать за сулицу — гнется в три дуги.

— У у у! — заревел Ива, бросился на Кощея, вцепился в него.

— О о о! — раздалось над его ухом. Ива очнулся.

В руках его борода посланца Княгини Яснельды, Боярина, который пришел звать его к ней в гости, в Княжой сад, где она уже ожидает его с Боярами, думцами, гриднями, мечниками, купцами и со всею дворнею Княженецкой и со всеми жилыми и вяцшими людьми Белгородскими.

Ива Олелькович, видя, что у него в руках не Кощеева борода, бросил клок волос в лицо Боярину и стал осматривать кругом себя: тут ли меч, тут ли шлем, тут ли все прочие его доспехи, все прочее его вооружение, и особенно чёлка из длинных конских крашенных хвостов.

Все было налицо; богатырь успокоился. Между тем Боярин, оправив бороду, поклонился ему земно и произнес речь призвания богатыря на пир Княжеский.

Ива Олелькович готов уже был произнести: "Нетути!" — но Лазарь предупредил это грозное слово вопросом: доспехи воинские наденет он или оксамитный козух, сеянный камением и жемчугом, присланный ему Княгинею?

Ива Олелькович и смотреть не хотел на одежду, не свойственную человеку ратному.

Едва только облачился он во всеоружие, явились от Княгини еще

несколько посланцев, Бояр, с приглашениями. Они взяли его под руки и повели в сад, где Княгиня, возвратись от литургии, ожидала уже его с нетерпением, сидя на резном пристольце, под заветною душистой липой; подле нее был другой, на котором она посадила богатыря Иву Олельковича.

— Как изволил спать-ночевать, государь Ива Олелькович? — произнесла Княгиня.

— Ась? — отвечал он.

Княгиня не знала, что говорить далее; так сильно было уважение ее к великому мужу, храброму и могучему витязю.

Начались гощения, начались песни и игрища.

Хоровод пошел по поляне сада; заплясали и два медведя; заходили ходунами и скоморохи в птичьих и звериных харях, в разноцветных перьях и в кожихах, вывороченных наизнанку.

Иве Олельковичу поднесли чару меду сладкого, но он не обращал на нее внимания, махнул рукой, чтоб не мешали ему смотреть на пляску и борьбу медведей.

— Эхэхэ! — кричал *Читан*, водящий медведей. — Не весть то, чи видмедь молодой, чи куропатва стара?..

Медведи заревели!

— Эгэгэ!.. а як-то, побачим, старая баба молодую брагу пила, да ее витром с ног сбило?.. як-то, побачим?

Медведю дали в чаше пива; он взял чашу лапами, выпил, стал переваливаться с ноги на ногу, зашатался и грохнулся об землю.

Читан продолжал таким образом допрашивать медведей про дела людские, про грехи мирские, а между тем к Иве Олельковичу подошли думцы Княжеские, сопровождаемые всеми вящими мужами Белгородскими.

Они сняли шапки, поклонились Княгине и потом богатырю и повели речь:

— Велик есть в людях славный и лепый витязь Ива Олелькович! Спас он нас от врага всепагубного! Молят тебя, благородный осударь Ива Олелькович, град наш и веси вси, и народ наш, и церковь, и вдовствующая Княгыня: сесть на стол Княжеский Белгородский, и сидеть и княжить и хранить ны от силы Мамаевой, иже на Русь грядет. И приять в жену себе Княгыню Яснельду, с венном великим; она же тебе статность друга, благородие Княжеское и красоту свою дарствует!

Княгиня Яснельда, склонив взоры, зарделась как вечерняя заря. Бояре ожидали ответа. Ива Олелькович молчал; его внимание было устремлено на толпящихся вдали скоморохов.

— Государь Ива Олелькович! — продолжали Бояре, поклонившись опять до земли. — Одари нас твоим соглашением!

— Ась? — вскричал богатырь и сердито махнул рукою, чтоб все отошли прочь и не мешали ему смотреть на борьбу силачей.

Яснельда покатила без памяти на руки Боярынь своих; ее понесли в палаты. Но обиженная гордость скоро возвратила ей память. "Вкиньте его в темный погреб!.. Вкиньте за обиду Белгородскую!" — произнесла она окружающим, и все бросились исполнять волю Княгини.

Но кто же осмелится взять богатыря Иву Олельковича?

Душа его вооружена мужеством, а тело силою.

По долгом совещании исполнители воли Княжеской всыпают сонного зелья в турий рог меду сладкого, идут к Иве Олельковичу.

Они застают его в толпе скоморохов, песельников и народа, подле двух медведей, повторявших пляску, полюбившуюся богатырю. Лазарь, красный, как раскаленный уголь, стоял подле своего барича. Он хохотал, заливался, как будто не перед добром.

— Государь Ива Олелькович! Княгиня кланяется тебе стопою меду сладкого, — сказали Бояре, поднося на серебряном подносе мед.

Ива не отказался, выпил.

Рожок залился, песельники гаркнули веселую песню, медведи заплясали.

Княжеские конюхи повели Лазаря на угощенье.

Бояре сторожат богатыря.

Вот отрывистый хохот его тихнет; глаза его слипаются.

— Княгиня просит Иву Олельковича в упокой! — говорят ему Бояре, почтительно кланаясь, и берут его под руки.

Ива Олелькович не противится. Латы на нем тяжелеют, шлем свихнулся на сторону, голова на другую.

Вот ведут его с честью в палаты Княжеские; проходят широкие сени, проходят дубовые двери, проходят подвал. В подвале темно. Является провожатый с фонарем, отворяют еще двери дубовые, кованные железом, вступают в низменный покой.

Ива покорен, как младенец; он уже едва переступает, храпит. Снимают с головы его шлем, отвязывают меч и тихо, молча, будто боясь, чтоб не разбудить уснувшего богатыря, кладут его на настланные снопы.

Молча, на цыпочках все выходят; двери притворяются; запор скрипнул; медленно поворачивается ключ, и удар щеколды глухо раздается по подвалу.

Слухом земля полнится, и потому возможно ли, чтоб стоустая молва и велеречивая слава умолчали о подвиге богатыря Ивы Олельковича?

Мамай, *сердитуя, как лев, пыхая, как неуголимая эхидна*, кочевал уже при устье реки Воронежа. Тут ожидал он своих пособников, Ягайла Литовского и Князя Олега Рязанского; но они, узнав, что Князь Димитрий Московский не *утулил*^[248] лица своего и с Двором Княжеским не бежит в Новгород или в пустыни Двинские, не торопились соединиться с Мамаем.

Особенно Олег, хитрый и увертливый, как птица, следовал правилу: *кто силен, тот и прав, кто в золоте, тот и друг*; и потому, до времени, он избрал мудрую средину между Мамаем и Димитрием и дружески протянул одному правую, а другому левую руку.

Медленно стягивалась рать его к Оке; Белгородская отчина, принадлежавшая вдовствующей сестре его, Яснель-де, также поставляла часть войска.

Пришедшие из Белгорода воины рассказывали про чудесное спасение города богатырем Ивою Олельковичем от нечистой Измаильтянской силы.

"Велик и могуч, — говорили они, — богатырь Ива; ростом он выше Княжеских палат, а плечо от плеча далеко, как утро от вечера; с ног до головы окован в железную броню; мечом рубит горы наполю; лук у него величиною с дугу-радугу; тул с черную тучу, полную громовых стрел; а палице и меры нет".

Наслушавшись досыта рассказов про Иву Олельковича, как одним махом побил он целый лес силы нечистой, доверчивые Рязанцы, перенося рост и силу Ивы Олельковича из уст в уста, взлелеяли его и взрастили выше небес, сильнее древнего богатыря Силы Рязаныча, которого едва земля на себе носила.

Слухи дошли до Князя. Олег возрадовался чудной новости — она предупредила его намерение клич кликать по всей отчине своей и вызывать сильных и могучих богатырей. Он слышал, что у Димитрия в войске есть витязи Пересвет и Ослябя, которые хвалятся одни идти на всю силу Мамаеву, как же не поверить самовидцам о дивном богатыре Иве?

Покуда Олег снаряжает послов к сестре своей, просить отпустить к нему великого и могучего нашего витязя, мы возвратимся в те четыре стены, между коими заключен Ива Олелькович.

Читатели могли полагать, что, заключив героя романа в темницу, нам

нечего будет сказать про него до самой минуты освобождения; но это неосновательно. Человек живет двоякою жизнью: положительною, т. е. деятельною, видимо, стремящеюся к своему концу, и жизнью отрицательною, стремящеюся к своему началу.

Посади в темницу какого-нибудь витязя настоящего времени — он будет проклинать или судьбу, или людей, или обстоятельства, или жизнь, или день своего рождения, или все вообще, чему не страшны проклятия; он будет даже лить слезы, чтоб показать или злость, или слабость свою; он будет вымышлять все средства, чтоб избавиться от неволи и отмстить и другу и недругу за насилие; но Ива Олелькович, как человек великий, как герой великодушный, стены, окружающие его, почитает призраком, наваждением Кощеевым и, не вооружаясь даже терпением, чтоб удобнее сносить гонения судьбы и людей, спокойно ждет видимой или невидимой руки, которая отопрет запоры и возвратит ему волю и коня, чтоб преследовать похитителя Мирианы Боиборзовны.

Исключая меч, стрелы и копьё, Ива заключен был во всеоружии; кованые доспехи тяготели на плечах его; но расстегнуть железные запоры брони и снять ее некому; и потому, во всем воинском облачении, он склоняется на посланные на полу ржаные снопы и предается вполне деятельности жизни отрицательной.

Всякий день сквозь отверстие в потолке спускается к нему плетеница^[249] с хлебом, с солью и с водой, и чья-то рука зажигает перед иконой елей, и чей-то голос произносит:

— Государь Ива Олелькович, изволь сесть на стол Княжеский Белгородский, прими Княгиню в жены себе, и будет тебе честь и почесть.

— Ась? — говорит обыкновенно Ива Олелькович. Голос повторяет слова свои. "Нету-ть!" — отвечает Ива

Олелькович, вполне уверенный, что Белгород, Княгиня Яснельда и весь Двор ее суть не что иное, как наваждение нечистой силы, и что с появлением дня, когда крикнут сторожевые петухи, все должно рассыпаться; но день не показывается, и петуха как будто на свете нет.

Опорожнив плетеницу, Ива Олелькович, по обыкновению, укладывается на снопах и мыслит о великих делах, о подвигах сильных и могучих богатырей, о Чуриле, о Добрыне, о Горыне, о Дубыне, о Усыне, семи отцов сыне, о Королевиче Разыграе, о Жар-птице, о Царь-девице и Мамазунах.^[250] С ними Ива носится из царства в царство, из земли в землю, из края в край, из града в град; с ними просыпается, встает, умывает белое лицо ключевой водою, молится богу, облачается в доспехи, кланяется

на все четыре стороны, садится на коня, выезжает в поле чистое, ломает копья, *тручит* по шлемам мечом. То помогает он Дубыне вырывать из земли столетние дубы; то радуется на Горыню, когда он мечет под облака скалы и давит ими поганые Ханские полки; то едет Ива с Разыграй Королевичем за воровкою Жар-птицей; то перескакивает на коне через ограды каменные и рвет золотые струны, протянутые от бойницы до бойницы; то вылетает из подземного царства на сером журавле и кормит его на полете белым своим телом; то несется вслед за коромыслом с двумя кувшинчиками, которые летят в Индейскую землю за живой и мертвой водою; то входит в шатер Царь-девицы и спасает ее сонную от злобного Юды...

Таким образом мечтая. Ива Олелькович погружается в глубокий сон, и ему кажется, что он тонет в море и является у подводных хрустальных чертогов водяного дедушки Омута.

Вот все подводное царство дивится невиданному диву, с земного царства пришельцу или мимошельцу Иве Олельковичу: морские богатыри, покрытые с головы до хвоста чешуйчатыми латами, ходят около него, хлопают жабрами, белая рыбица в жемчужной ферязи ластится; вьюн крутится, бьет хвостом о железные доспехи витязя; надутый лещ остановился и поднял гребень от удивления; строи морских раков, латников, вооруженных клешнями огромными, отступают назад и, вытулив очи, хлопают шейками.

Неслыханное плесканье рыб доходит до слуха Омута. Высылает он седого своего думца Кита узнать, что на дне морском деется. Выходит Кит из хрустальных чертогов, дивится на Иву Олельковича и молча возвращается к Царю морскому, доносит ему о появлении в его Царстве зашельца земного, богатыря в чешуе железной.

Взмутился Омут, заклокотал, закипел, запенился. "Призвать, говорит, его ко мне!" Бегут золотоперые придворные звать Иву Олельковича. Морской конь подплывает под него и несет на себе в чертоги Царские; при входе стоят на часах Пила и Меч. Вот Ива видит: на жемчужном престоле сидит водяная глыба; глаза — пузыри; нос — синий смерч; рот — пучина; волосы — водобои; борода — водопад.

— Ну! — говорит Царь Омут. — Незванный гость, земной богатырь-зашелец! Слыхал я, на земле славятся силой и воинской хитростью, — посмотрю я вашего молодечества; дам я тебе под начало море воды, да конной рати, называемой сельдь, две тмы, да пехоты, тяжелых латников-раков, одну тму с полтмою, да иных разных ратных рыб, одну тму с потемками; поведешь ты мою рать на поганого Кощея, который завладел

горячим песчаным морем на юге. Возьми ты в полон Кощея, наводни горячее море да насели его рыбою. Сослужишь службу верой и правдою, дам я тебе два *ворота* сухой воды, что у вас зовут светлым камнем алмазом, да женю тебя на моей возлюбленной дочери Струе; а не сослужишь мне добром, заточу я тебя в мразное море!

Умолк Царь Омут и велел позвать к себе возлюбленную дочь свою.

Течет в светлицу ясная, прозрачная Струя; в жилках искрится радуга семицветная; вместо покрывала облечена она в пену жемчужную; переливаясь по золотому дну подводных чертогов грозного своего родителя, шепчет она сладкие речи на непонятном Иве Олельковичу языке. Катятся вслед за нею волны мамушки и нянюшки и красные сенные девушки; они плещутся, брызжуются, ударяют в хрустальные стены.

— Возлюбленная дочь моя, Струя! — говорит Царь Омут. — Вот твой суженый: обними его ласково и приветливо!

Струя повинуется, течет прямо к Иве Олельковичу.

Ива Олелькович отступает; но нет спасения: Струя хлынула в его объятия, обдала его... "Ух!" — восклицает Ива и вскакивает; холодный пот катится с лица его. Он осматривает все кругом себя... Нет ни хрустальных палат, ни Омута, ни холодной Струи. Опять темные стены, опять ночник перед иконой, ложе из ржаных снопов и плетеница с хлебом и с солью.

Еще полный дремоты, чувствует он голод; придвигает он к себе плетеницу с пищей; берет круглый опреснок, ложится, кусает, и — новое чудо: хлеб светит как месяц. Ива всматривается... В руках его ущерб лунный; смотрит на небо... оно темнехонько, некому его осветить. Жаль Иве неба; поставлю, думает он, светлый месяц на место.

Вот шарит Ива рукою по небу. Гладко как стекло, не на что повесить месяца.

Опять шарит, ищет, вскакивает с досадой и — стукнулся об небо теменем... Хрустнуло небо, разлетелось вдребезги; звезды посыпались как искры, обожгли его. Ива вскрикивает, приходит в себя и — опять он в темнице, опять ночник теплится перед иконой, опять лежит он поперек одра с опресноком в руках. Не верит Ива Олелькович глазам своим; взял опреснок в обе руки, рассматривает и боится, чтоб опять не укусить светлого месяца.

Как хороша, как сладостна, как радостна мечта! Между жизнью и мечтой есть большое родство, и потому уметь жить и уметь мечтать — две вещи, необходимые для житейского счастья.

Посмотрим на мечты Ивы Олельковича. Его мечтания не в будущем, а в настоящем; это доказывает ум и великую самостоятельную душу, которая

не нуждается ни в чем, кроме прошедшего, чтоб создавать настоящее по произволу.

Вот Ива Олелькович любит мысленно красотой Мирианы Боиборзовны; рассматривает ее с головы до ног; вот вставляет в девственный облик ее голубые очи; примеривает, не лучше ли она будет с черными; расплетает ей русую косу, хлопчет раскладывать по белой груди и по плечам черные струи волос; то переодевает ее из сарафана в ферязь с длинными до пят рукавами, то, сбрасывая ферязь, накидывает на нее шубку на лисьем меху; то ласкает ее, то дразнит медовиком, то угощает, сыплет ей в полу орешенья и вишенья; то напевает ей песню, то, увлекая ее в хоровод, вскакивает с своего ложа и хочет идти вприсядку... да броня мешает, не гнется; да два луча от ночника кажутся ему руками Кощеевыми, обвивающимися около Мирианы Боиборзовны. Ива бросается на злодея... черепок с горящим елеем перед иконой летит с полки, разбивается вдребезги... потухающая светильня тлеет на полу и светится, как очи Кощея из-за тридцати земель... Ива бежит за ними, ударяется лбом в стену своей темницы и, осыпанный молниями, опрокидывается без памяти назад, на землю.

Поганый Кощей!

Но и несчастье сладко, когда человек чувствует собственное презрение к несчастью. Силачу необходимо противосилие, как пища; он счастлив, когда встречает его.

Так и Иве Олельковичу необходима борьба с Кощеем.

Вот Ива Олелькович очутился, приходит в себя; все темно, все потухло в очах его; летит черная туча по небу; не видно ни зари, ни дня; упала мгла от неба до земли.

Ива припоминает полученный от Кощея удар в голову, и ему слышится вдали жалобный напев Мирианы Боиборзовны:

Ты пусти меня, пусти, *окаянный!*

Наберу я былья по долине,

Залечу я другу его рану!..

Как сладко подобное участие!

Скажут, что это мечта... Отчего же у Ивы Олельковича так сладко билось сердце? Отчего память его так искусно мутилась, что в состоянии была обмануть зоркие чувства? Но точно ли это мечта?.. не наваждение Кощеевой нечистой силы? Впрочем, может быть, мечта есть внутренняя

наша жизнь? Кому не случилось от мечты быть веселым, от мечты быть печальным, сытым, пьяным, робким, храбрым, влюбленным, быть огнем, льдом, женщиной и мужчиной, всем и ничем!

Таким образом и Ива Олелькович, смотревший не из себя, а в себя, окруженный чудными существами и дивными обстоятельствами, не видел в ежеминутных богатырских трудах и заботах, как прошло много времени, между тем как конюх его Лазарь изныл, истомился, похудел, тоскуя по своему бариче.

Лазарю дана была полная свобода нести богу жалобы: ибо в старину люди жаловались только на собственные свои грехи.

Лазарь был одарен от природы чутьем. В день заключения Ивы Олельковича, спеленанный медвяным хмелем, он очнулся не прежде другого дня; но судьба барича не утаилась от него. В первые минуты отчаяния он залился горькими слезами; потом, не зная, чем помочь горю, он хотел идти молиться Княгине, хотел просить за барича Белгородское Вече, хотел седлать и ехать домой *пожалиться* Мине Ольговне и поднять мятеж и *встань* ^[251] во всем селении Облазне; но пришел час полуденя, гостеприимные Княжеские конюхи позвали Лазаря на *губницу* и, утешая, поднесли ему хмельной браги. Действие хмеля было благодетельно: он унял порывы отчаяния, отер слезы кулаком, угомонил сердце и вот, к вечеру, на сеннике, в кругу конюших и приспешников Княженецких, Лазарь досказывал уже письменную Сказку, быль про Кощея, слышанную им от звоноря сельского, читавшего оную в книге иерея Симона, глаголемой *Гронограф*.

— Вот, — говорил Лазарь, — Кощей думает: как извести сына рыбаля с *Баричева холма*, который по заклятию должен был наследовать его богатство. Придумал, идет под вечер к рыбарю. "Здорово, рыбарь!" — "Здорово, свет Боярин!" — "Много ли рыбы в Исаде? каков лов?" — "Нет лову, Боярин, на рыбу сон, вьюна живого нет!" — "Ой?" — "Право слово, Боярин, кормиться нечем, а бог дает детище!" — "Сын или дочь?" — "Сын, Боярин". — "Дал бы тебе пригоршню пенязей, оже бы ты достал мне на ужин рыбы, поди-ко, авось в садке есть что-нибудь". — "А може, и есть, пойду, пожди мало, Боярин". Рыбарь со двора, а Кощей к хозяйке: "Принеси-ко, молодлица, кваску с ледника". Молодая родительница, еще слабая, положила бывшего на руках ее ребенка на постелю, вышла с жбаном на ледник, а Кощей за младенца, да и вон из избы. Выбежал в поле, берегом Днепра, остановился близ устья Почайны, остановился под густым деревом, разрыл снег, бросил в него ребенка, засыпал его... А кто-то скачет по ближней дороге, Кощей от него, а страх за Кощеем. В недре огонь, в

членах трепет, в устах жар, прибежал домой. "Дай мне холодного меду!" — говорит он жене. Подает она ему холодного меду. "Тепел! дай льду!" И лед, как раскаленный камень, жжет язык. Гонит прочь от себя и жену и домовинов. Уходит и жена и домовины, но Кощей все не один, вокруг него кто-то все ходит, на потолке стук, под полом возня, по углам шепчут, в трубу гудят... Стоят у Кощей волосы дыбом, обводит он кровавыми глазами избу, прислушивается... Вдали плач младенца, над ухом угрозы... Бросается он в пуховую постелю, закутывается одеялом... Что-то холодное ползает по телу, вьется, шипит... Сбрасывает с себя Кощей покров, вскакивает на ноги... ноги ломаются, в очах туман... Грохнулся без памяти о пол.

Проходит ночь. Настало утро. Опаматовался Кощей. "Посмотри, что с ним деется!" — кто-то опять ему шепчет. Встает, боязливо окидывает все взорами... крадется из дому, по улицам, спешит к болонью, к тому месту, где зарыл в снег младенца. Смотрит — на том месте видна только проталинка: поросла густой шелковой травой... трава помята... младенца нет.

Заскрежетал Кощей, рвет на себе волосы; а подле него, за бугром, слышны голоса... прилег к земле, прислушивается.

— Что сказала Лыбедь?

— Нельзя-де теперь: муж дома.

— Окаянный Кощей!

— Велела прийти повечери да стукнуть в боковое оконце.

— Ладно.

— А слышал ли ты диво? Болоньем ехали сегодня, раным-рано, купцы; едут, а подле дороги сидит младенец, как заря румян; кругом снег, а под ним на проталинке зеленая травка, а теплынь, словно в печурке; подивились купцы, да и взяли младенца; привезли в город, а Лыбедь, жена Кощеева, и взяла его вместо родного сына: мне-де бог не дал детища, в чужом шлет утеху старости и наследника...

— Диво!

— Да, диво!

Умолкли прохожие, скрылись.

— Настал мой конечный час! — промолвил Кощей, и повело его *тугой*, очи закатились, зубы стиснулись, окостенели члены, лежит, как камень могильный. Но вот снова обдало его огнем; опять под сердцем как будто нож врезался. Очнулся и видит: лежит он в черной избе; нет никого, а за стенкой слышно речь ведут:

— Слава Пану богу! дал мир нашей земле, а безвременье поганому

Кощею!.. Недаром бежал, а Князь разослал везде поиск: кто приведет живого или мертвого, сто гривен тому серебра в *одар* и милость Княжеская! Не уйти ему!..

"Погиб!" — думает Кощей... приподнимается с одра, накидывает на плеча покров, крадется к дверям, отворяет; двери скрипят... выбегает в сени, во двор, в задние ворота, в градину; перескакивает через плетень, бежит полем, глубоким снегом в лесу, в чащу, бросается под пространные ветви ели, занесенные снегом, и не смеет перевести дыхания. Но погони не слышно; только стая черных воронов слетелась над ним, скрыла от него свет божий и каркает что-то недоброе; а голод и жажда душу томят, в недре словно печь топится, уста запеклись, а мороз режет тело; а ветер сквозит и обсыпает Кощея порошей. Но вот заходящее солнце осветило высокие башни *Самвата*; взглянул Кощей, закипела в нем кровь. "Убью, говорит, жену-изменницу!.. убью зачатое детище!.. не играть им моим золотом!.."

Вскакивает с места, бежит, а вороны вслед за ним, как за трупом, который уходит от стаи. Уж смерклось. Кощей пробирается берегом Днепра к своему дому, крадется градиной к оконцу терема, стучит в него хворостом. "Кто там?" — раздается печальный голос. "Я!" — отвечает Кощей. Оконце отворяется, и кто-то, протянув руку, произносит: "Прими, добрый человек, милостыню!.. помолись за погибшую душу моего мужа!.."

Малый хлебец упал на руки Кощея.

— Лыбедь! — вскричал он, но уже поздно: оконце захлопнулось.

Бежит к воротам. Подле ворот стража.

— Кто тут? — раздается звонкий оклик. Кощей останавливается, не смеет отвечать.

— Говори, проклятый! убью!

"Проклятый!" — отзывается в ушах Кощея.

"Узнали меня!.." — думает он и скрывается в темноте... а мрак так и ложится на землю... а он... идет все... идет... идет да идет... вот... идет!.. ну... пррр!.. окаянный!.. ушел!.. ааа!.. стой!..

Таким образом рассказ Лазаря слился с его дремотой, а уходящий Кощей с ушедшим конем; и вот Лазарь делает два дела: в *мире вещественном* храпит на сеннике, а в *мире отвлеченном* ловит богатырского коня.

Все его слушатели также уже во сне ловят *буркал*.

Таким образом, первый день заключения Ивы Олельковича потух.

Много прошло еще новых дней, в которые горевал Лазарь по своему бариче и рассказывал на сеннике разные были и небылицы. Он начинал привыкать к новому образу жизни, принимал уже участие в Княжеских конюшнях, водил Княжеских коней на водопой, задавал сено, засыпал овес, чистил и чинил сбрую, возил со двора навоз... вдруг в один благодейный час возмутилась тишина в Белогороде. Приехали послы от Князя Рязанского.

И были те послы: Княж Иван сын Гюргович, да Бояре Поликарп и Углеб, да Иван Войтишич, да Олег, да Мнислав и иные.

Они представились Княгине Яснельде и после поклонов от Князя, старшего брата, Рязанского, прочли, по обыкновению, грамоту:

"Милостию божию и пречистыя его Богоматери, на сем на всем, молодшая сестра Княгиня Яснельда Белгородская, Ивановна, целуй во всем крест к своему брату старейшему, Князю Олегу Ивановичу Рязанскому, держати ти мене себе братом старейшим, честно в любви и во чти, и хотети ти мне, брату старейшему, добра везде и во всем и до живота, а не доканчиватити, ни ссылатися ни с кем без моего веденья, а с кем будешь ты в целовании, и тебе, к тому целованию сложити, а мне, по душевной грамоте отца, тебе жаловати и печаловатимися тобою и твоею отчиною..." Кончив длинное чтение грамоты, послы объяснили Княгине причину послания. Дело касалось до Ивы Олельковича. Олег требовал его к себе воевать на врагов.

— Завтра пуцу к вам моего богатыря, — отвечала Яснельда послам, и они отправились ожидать завтрашнего дня.

Настал завтрашний день; Совет Княжеский задумался: каким образом выпустить богатыря из *погреба*?

Два дня судили, на третий решили: прибегнуть к Лазарю.

Взыграло сердце Лазаря красным солнцем, когда дали ему в руки ключи от подвала, где был заключен его барич, и сказали, чтобы он молил Витязя Иву Олельковича идти щитом за Князя Олега Ивановича, что Князь пожалует-де его своею любовью, и серебром, и золотом, и паволоками, и конем, и бронею.

Торопится Лазарь темным подвалом, толпа людей Княжеских не успеваает за ним.

Вот стукнулся он уже лбом о дубовые двери, пошатнулся, зачесал

голову...

Вот стучит, зовет барича по имени... слова вторятся под сводами, щеколда щелкает... за дверью молчание...

Вот заскрыпели вереи, дверь отворилась, Лазарь хлынул в темницу...

— Господине мой Ива Олелькович!.. Государь Ива Олелькович!..

Вторится имя Ивы Олельковича под сводами... Не отвечает.

За Лазарем не внесли свечоча; все стояли в дверях в страшном ожидании появления богатыря.

Лазарь шарит в темноте.

— Государь Ива Олелькович!

Нет ответа.

— О о о! — заревел Лазарь. — Государь ты мой Ива Олелькович!

Придверник темничный и Княжеские люди приблизились к двери с свечочем.

Лазарь стоит посреди темницы, как окаменелый. Перед ним на полу несколько снопов ржаной соломы, вокруг него пустые стены.

У всех отнялся язык, сердце замерло.

Где Ива Олелькович?

XIII

Время волшебства и чародейства, время золотое! ты живешь уже только в Сказках!

Время, когда юная волшебница после короткого сна на летучем, пуховом облаке пробуждается от поцелуя любимицы своей, румяной зари, спускается с высоты на душистый луг и погружается в благовонном море цветов!.. Воздушные девы накидывают на обнаженную красоту ее легкий туман, собирают для нее перловую росу, нижут ожерелье, плетут венец, вяжут из цветов ткань для одежды, навешивают серьги, осыпанные искрами дивного света, стягивают стан радужной тесьмой, набрасывают на белизну чела ее легкую тень вместо покрыва, прикасаются устами к ее снежной руке, ловят ласковый прощальный взор ее, дивятся чуду создания, чистоте ее души, нетленной нежности ее состава...

Волшебница летит поклониться *неведомым силам*...

Где же вы, духи неведомые? Злые и добрые, светлые и темные? Кто истребил ваше царство и изгнал вас из мира вещественного в мир воображения?

Кто похитил таинственные слова заклятий, призывающих вас на помощь человеку?

Кто совершенно приковал человека к земле и отнял у него волшебные средства сбрасывать с себя на время тело и носиться невидимо, подобно вам, в пространствах вселенной?..

Нет того, что было! Нет вас!

Однажды Ива Олелькович, распростертый на своем скудном ложе, на снопах, догнав во сне похитителя Кощея, изрубил уже его наполю, очнулся довольный собою и, окидывая взорами свою темницу, искал Мириану Боиборзовну...

Вдруг слышит он, раздаётся над ним тихий голос:

— Ива Олелькович?

— Ась! — отвечает Ива.

— Ива Олелькович?

— Иде же ты? — отвечает Ива, обводя глазами все четыре стены.

— Ива Олелькович! — продолжает тихий голос. — Не лиши любви твоей... горькие слезы выплакала!.. не могу быть без тебя!.. пришла к тебе сама молить: не сгуби души моей!

— Ой?.. сама? — вскричал Ива радостно. — Ах ты голубица моя

сизая, лебедь белая!.. иде же ты?

— Здеся, зде, Ива Олелькович!

Ночник перед иконой почти потух, но Ива Олелькович увидел, как с потолка спустилась лестница, а две белые руки протянулись к нему.

— Иди борзо... иди... бежим от власти крамольника и грабителя Коротопола!

— Кощей поганый!.. Не кресить уже ему! — вскричал Ива Олелькович, карабкаясь на лестницу.

— Тс! тише, тише! дорогой мой, лад мой!

Ива выбрался из своего погреба в тьму кромешную; две нежные руки обвилися около его шеи. На объятия он отвечал также объятиями.

Все чувства Ивы Олельковича были полны радости; душа его играла мыслью, что Мириана Боиборзовна ему возвращена, что его могущество и сила преодолели все очарования поганого Кощея.

Кто, осветив картину сию искрой своего воображения, не сказал бы, что он Диди-Лад, [\[252\]](#) а она Девана. [\[253\]](#)

— Лад мой! — раздался опять тихий голос. — Нас ждут кони!

И вот ласковое привидение повлекло Иву Олельковича за руку темным переходом, крутую лестницею.

Ива Олелькович, испытав огненный поцелуй, забыл все... Несколько раз останавливал он путеведительницу свою, чтоб повторить награду за избавление ее от поганого Кощея.

Проходят сени, спускаются с широкого крыльца в сад... небо ясно, на небе звезды, но ночь темна...

По тропинке, между густыми деревьями, приближаются к калитке... деревянный, огромный замок щелкнул, калитка отворилась; подле стены, на Княжеском заветном лугу, всадник держит двух оседланных коней.

— Лазарь! — вскричал Ива Олелькович.

— Тс!.. Лазарь нас догонит, — говорит она ему тихо.

— Шлем и меч! — продолжает Ива Олелькович громким голосом.

— Тс!.. шлем и меч будут, будут, а теперь едем! Сговорчивый богатырь соглашается.

Едут. Темная ночь, потворница тайн, стелется по горам, по лесам, по водам и долинам, кутает природу, обращает предметы в чудовищ, морочит глаза, обдает ужасом чувства... И вот... жметя к Иве сопутница его; то торопит его, просит ехать скорее, то удерживает, молит его ехать тише... Сбила бы она Иву Олельковича совсем с пути, если б не проводник.

Между тем как они исчезают в темноте и несутся за проводником, в Белгороде настает тот день, на который послы Олега должны были принять

богатыря Иву Олельковича для отъезда с ним в Рязань.

Читатели видели, как Лазарь и Княжеские люди, не нашед в темнице Ивы Олельковича, стояли в ужасе и недоумении.

Когда наконец пришли они в себя и известили о дивном событии Совет Боярский, Бояре пошли доложить о сем Княгине; но Княжеские Боярыни сказали им, что Княгиня заперлась в своем златоверхом тереме и никому не велела входить к себе в продолжение трех дней.

Послы Олега Рязанского, не зная, каким образом предстать Князю, не исполнив его воли, решились везти с собою хотя богатырского конюха.

Тщетно уверял их Лазарь, что без своего боярича он никак не может разбить силы нечистой.

— Благоверные господа послы, честные Бояре, — говорил он им, — отпустите меня, верного раба, конюха и приспешника богатырского, отпустите искать его по белому свету, не дайте сгинуть тугою и печалью! Отпустите — найду его и приду вместе с ним служить службу Князю Олегу Ивановичу, а *един* не могу.

— Иде же ты найдешь его? — спросили Лазаря послы.

— Ведаю, куда пошел он, — отвечал Лазарь, — пошел он за тридевять земель в тридесятое царство, к Кощею бессмертному, за своею женой Мирианой Боиборзовной.

Послы захохотали; они верили силе и богатырству, но про тридесятое царство и про Кощея слышали только в Сказках.

— За коей Мирианой Боиборзовной? — спросили они Лазаря, помирая со смеха.

— За своей женою, — отвечал Лазарь. — Вот, изволите видеть, честные послы Княженецкие: когда государь Ива Олелькович в белый свет родился, то родился он под великою, светлою *звездою-планидой*, велик ростом и умом не детским и с зубами большими. И не возмогла воскормить его родная матушка молоком материнским; и водили к нему кормилок со всей волости; ни одну не принял, искусал всем сосцы, исцарапал, изорвал всем лица, губил всех без милости. Вот и послала родная его матушка, Мина Ольговна, клич кликать, звать кормилицу из дальней земли; и пришла кормилка из страны Узовской. "В три дни, говорит, воспою, воскормлю его; расти ему не по годам, а по часам, быть ему богатырем могучим, сильным, храбрым витязем; готовьте ему не пелены, не свивальники, не белую полотняную сорочку, не плетеные лапотки, не морховую шапочку с золотою ужицей, а готовьте вы ему шлем золотой с орлиным яловцем, броню железную, меч-кладенец, лук разрывчатый, палицу дубовую, саженную кременными зазубринами. Да ищите ему

невесту красную, не полюбится, уйдет он от вас, искать девицу во лбу светлый месяц, на ланитах утренняя заря, уста — багрец, русая коса в три поприща..."

Всплеснула руками, восплакала родная матушка, стала готовить всеоружие, искать невесту, стряпать яствы и варить пиво и мед на свадьбу.

И стал Ива Олелькович сосать сосец бабы-кудесницы. На первый день пососал, полез по лавкам, по столам и на печь; на другой день пососал, полез вон из избы, на голубятню, на высокие деревья; на третий день пососал, полез в драку с дворового челядью.

И вырос он в три дни, господи упаси, велик! А голос у него все младенческий: не говорит, не бает и есть не попросит путем: "Дай-де, мама, мне каши", все воет, да вопит, да ревом ревет.

Вот, на четвертый день от рождения, рассерчал он, что каша была горяча и язык обожгла; схватился вопить, заголосил на весь божий мир; что ни подай в утеху, все ломит, да рвет, да швыряет. "Принесите ему, — говорит кормилка-кудесница, — железную броню; авось поутихнет". Принесли, и, вестимо, унялся, надел на себя кольчугу да шлем, привесил меч к бедру и пустился в широкое поле. Да без благословения родительского не далеко ушел: верно, не видал, что без пути, без дороги не ходят. Слушать послушать: где плачет младенец? Сбежались люди, глядят, а барич в болоте. Насилу вытащили, привезли домой, сводили в мовню, напоили, накормили досыта.

Порадовалась родная, что бог дивом возвратил ей сына. Невеста была на примете; давай сватать, и сосватали; сыграли свадьбу и спать в клеть положили.

Откуда ни возмись, поганый Кощей. Не по-людски пробрался он тишком в клеть, под полог, да — хватить молодую! — а она в сорочке!.. Закутал в одеяло, связал концы, вскинул на плечо, да и тягу!

Тут-то возговорил Ива Олелькович! "Давай, говорит, броню, давай коня да конюшего Лазаря!" Сели, да и поехали вслед за Кощеем поганым.

Вот, скачем мы...

Продолжение погони Ивы Олельковича за Кощеем известно уже читателям по Сказке Лазаря. Слово в слово рассказывал он тоже послам Рязанским, что после рассказал Тиуну и простой чади села Облазны.

Не лучше сельского Тиуна и челяди послы дивились и ахали, верили и не верили.

Только Княж Иван подумал и сказал, что если Лазарь не годится в Витязи Княжеские, то годится в Княжеские сказочники. Взять его с собою!

А Лазарь в ноги. А на Лазаря и не смотрят. Сказки его слушали, а

просьбы и слышать не хотят. Таков свет, в старину и ныне.

Послы собираются ехать в Рязань. Они уже идут просить прощения и отпуска у Княгини Яснельды, а Лазарь стоит у ворот, его взяло раздумье... не бежать ли?

Вдруг из-за угла молодец в синем кафтане, в шапке, нахлобученной на глаза.

— Лазарь! ступай за мной! — сказал он тихо, проходя мимо.

Подумал Лазарь; пошел за ним.

В переулке, за загородкой, стояли два оседланных коня. — Садись!

— Куда?

— Узнаешь после, ступай за мной!

Молодец вскочил на коня, Лазарь также; понеслись в чистое поле.

У Лазаря так и бьется сердце; чует радость.

Скачут добрые молодцы полем, высокою траввою, рассыпными песками... и след простыл.

XIV

Едут они, скоро ли, долго ли, близко ли, далеко ли; проскакали по тропинке, вьющейся через густую дубраву; поднялись на возвышение, по извилистой дорожке выбрались на холм... Под холмом струится речка с золотым дном; цветущая окрестность обнажается... Пространная равнина, усеянная цветами, холмистая даль, разбросанные рощи вокруг берега реки Смы, белокаменный город, темная полоса отдаленного леса, синева небосклона, а от нее небо светлее, светлее...

Вдруг под стопами Лазаря раздалось: "Ай!.."

Вздрогнул Лазарь... оглянулся и — второпях, в радости — осадил коня, прыг с него долой; валится в ноги своему баричу, сильному и могучему богатырю Иве Олельковичу, целует у него руку, еще раз целует, и смотрит ему в лицо, и не верит глазам своим.

Это был не сон.

Ива Олелькович наяву сидит на густой мураве; подле него женщина в богатой одежде, под покрывалом.

Лазарь не смеет спросить у барича: кто она и отколе? Он только осмотрел ее с ног до головы: не Мириана ли Боиборзовна? Кажется, нет... Мириана Боиборзовна не так дородна. Лазарь отвесил и ей низкий поклон; еще раз поклонился в ноги баричу и потом присоединился к вожатому; поблагодарив его за дружбу и службу, Лазарь стал было пытаться у него: кто такая Боярыня? Да молодец, верно, сам того не знал.

Между тем Ива Олелькович, порадовавшись возвращению своего конюха, углубился снова в молчаливое недоумение. Казалось, что он пытал у самого себя: что делать, что начать богатырю? Мириана Боиборзовна отыскана, подвиг кончен, а с этим вместе кончается обыкновенно и сказка о всяком богатыре, сильном и могучем витязе.

Долго еще Ива Олелькович посматривал исподлобья на красавицу, покрытую покрывалом, и отвечал на ее нежное шептанье звуком: *мгм!* не требующим разевать рта, наконец кликнул он Лазаря и потребовал коня.

Подвели коней. Сели. Поехали. Куда? Бог весть.

Вожатый ехал вперед. Верно, знал дорогу.

Ива Олелькович ехал близ своей сопутницы, молча. Казалось, что ему было скучно, и он порадовался бы воскресению Кощея и новому похищению Мирианы Боиборзовны, чтоб пуститься снова лисьим скоком отыскивать жену и приключений.

Воображаемая Мириана Боиборзовна также была невесела и нерадостна.

День в пути, ночь, под уютным кровом неба и густого леса, на ночлеге.

Проходит несколько дней. Запас пищи, бывшей у вожатого в котомке, вышел весь; пришлось заехать в ближнее село. Заезжают.

В селе раздаются громкие песни, гулкие бубны, заливные рожки. Народ толпится около возвышения. Ходят кругом хороводы. На холме три высокие сосны обвешаны пологом; под пологом светится *куща пламени*. Близ холма ряды старцев в белых балахонах. Подле выкачены бочки. Там и сям ходят молодцы, обнявшись с молодницами и девицами.

Когда наши путники выказались из-за угла селения, вся толпа народа с испугом обратила на них внимание, взволновалась: "Эй, люди, люди! то хрестьяне! — раздалось между ними. — Пойдем на них!.."

Заметно было, что все вооружились батогами, плетень был обращен в оружие.

Лазарь не утерпел, выскакал вперед, прямо к толпе.

— Чему дивитесь, нехресть!.. Чему не поклоняетесь земно, лапотники!.. То идет великий и могучий богатырь!

— Ои? то богатырь? — вскричали старики из толпы и пошли навстречу Иве Олельковичу.

Увидев богатую кованую одежду его, они сняли шапки и повалились в ноги:

— Прошаем! — сказал *старшой*. — Прошаем в гостебницу, в Божницу нашу, на гощенье!

Напрасно спутница Ивы Олельковича шептала ему про свою боязнь быть между опьянелою смердою; он не ведал боязни и опасений и принял приглашение.

Его усадили подле холма на мягкие перины. Спутница поневоле села подле него.

Поставили перед ними пряные ковриги, перепечи, орехи, пиво и мед.

По обычаю, Ива Олелькович молча принял за пищу, а старики, перешептавшись между собою, начали к нему такую речь вести и жалиться:

— Государь богатырище! Стужаем-ста тя, помочи нам супроти хрестьян; обиждают! нудят крыж человать, а не будем человать, дворы наши пожгут, поля потопчут, весь мир избыют. Идут к нам с чаровствы и ласкательными глаголы: молися якому-сь Господеви, иному, единому богу. Мы же речем: есть у нас боги не мало и не един, искони служили им, и

добры суть, и милосливи к нам, и корм и питья дают, а зачем нам бог иной, не ведаем, аще ли добр есть и даст ли нам пищу...

Тут вся толпа повалилась в ноги перед Ивою Олельковичем.

Внимание Ивы Олельковича было обращено на сладкую ковригу и кружку с медом.

Старики продолжали:

— Помоги, государь богатырище, побей нечисть, спали гнездо их! Ходят битися с нами не стрелами, не мечами, а носят с собою яки-с *тюфяки*, да пороки,^[254] да смаговницы и иныи великий бесовские дела.

— Ой! — произнес Ива Олелькович.

— *Нечестивый Савватия, скверное его сердце, иже седми злыдней жилище*, поднимает всю землю на ны!.. Мних, мних, с вой! — раздалось вдруг в толпе народа.

Помоги, родной! вскричали еще раз старики и, не ожидая помощи, бросились вслед за толпой к деревне. Холм опустел. Лазарь, также пораженный страхом, опираясь о бочку, приподнялся на ноги и по природному влечению бросился бы вслед за бегущими, но Ива Олелькович потребовал коня

Спутница Ивы всплеснула руками, когда из-за роци кто-то в черном хитоне, в черном клобуке, с крестом в руках ехал верхом, а за ним следовал отряд конных ратников.

Ива Олелькович, предвидя бой, возрадовался, вскочил на коня, хватя за меч, а меча нет... Сердито обводил он взорами кругом себя и искал, нет ли тына, из которого можно было бы выхватить палицу...

Лазарь крестился.

Отряд ратников кинулся уже навстречу Иве Олельковичу, но мних остановил их словами: "То крещеные, ратные люди!.. Творят знамение креста!.."

Остановились, Лазарь соскочил с коня, подбежал к монаху и представил руки на благословение.

Монах перекрестил его и спросил:

— Кто сей есть?

— Сильный и могучий богатырь Ива Олелькович, — отвечал Лазарь.

Монах подъехал к Иве Олельковичу, который раскачивал уже березу, хотел вырвать ее с корнем и употребить вместо богатырской палицы.

— Аз грешный чернец Савватий, твой нищий и богомolec, господине честный и могучий Ива Олелькович, — произнес монах.

Ива Олелькович, видя покорность чернеца Савватия, оставил дерево в покое и стал внимательно слушать. Чернец продолжал:

— Иду проповедовать слово о Христе злым идольникам, Лядовым детям, секты Абуевой, иже есть стайнин дьявола, адов вепрь, сосуд злобе, главня Содомского огня, огню Геенскому пища, сатанин провенец!.. Все люди совратил с пути истины и сотворил прелесть кумирскую! Никто же из ереси его к божественному пению не ходят; Среды и Пятка постов не чтят; молятся скверным своим мольбищам, древесом и камением; в Петров пост *ядят скором, жертву трут* и питья пьют; мертвых своих кладут по курганам, в лесех и по *коломищам*; ^[255] замужни жены и вдовы старии и молодии головы бреют и покров на главах и одежду на рамах носят, *подобно мертвячим одеждам*. А которой жены дитя родится, и они к своим младенцам призывают *арбуев* и над кануны арбуют скверным бесом; живут от жен со иными без венчанья, емлют к себе девки и вдовицы и живут с ними бесстыдно по полугоду, и будет им которая по любви, и они с тою венчают и молитвы емлют, а будет не по любви, отсылают от себя.

Аз же смиренный, худый и грешный...

Между тем как отец Савватий рассказывал Иве Олельковичу все беззакония ереси, толпа вершников, под начальством войскового Тысяцкого, преследовала уже бежавших во все стороны идольников; не видя спасения, они покорились, пали ниц и молили о пощаде.

Отец Савватий, кончив речь свою, предложил Иве Олельковичу быть свидетелем крещения идольников и присяги их в церкви.

Все приблизились к реке.

Вопли жен, плач младенцев, ропот общий огласили воздух, но... чрез несколько мгновений вся толпа идольников стояла уже в воде и над ними совершалась молитва.

По окончании обряда повели их в храм ближайшего погоста.

Ива Олелькович, спутница его и Лазарь следовали за ними.

Приехали и пришли в погост. Вошли в храм; вогнали в него идольников. Начался обряд.

Запели *Иже Херувима*... Вдруг в толпе любопытного народа, наполнявшего церковь, раздался визг и потом звуки, подобные лаю... Народ расступился, из толпы выбежала молодая, бледная женщина, с рассыпанными по плечам волосами, в черной длинной ризе, перепоясанной веревкою.

Она бросилась на амвон, пред Царскими дверями.

— У-у, у-у, у-у... — раздалось под куполом и сводами церкви и заглушило совершение службы; но никто не прикасался к женщине, никто не считал ее воя за нарушение благочиния церкви. "Это здешняя кликуша, бывшая любовница нашего Боярина. Говорят, дали ей какво-с зелья,

испортили; а Боярин женился на другой, а она и пошла лаять да лаять..."

Так говорил один старец Лазарю.

С любопытством приблизился Лазарь к кликуше.

Долго лежала она, распростертая на амвоне, и не переставала издавать страшные звуки... вдруг приподнялась, повела неподвижные взоры по всем присутствующим.

— Мириана Боиборзовна! — вскричал Лазарь.

— Ой? — вскричал Ива Олелькович, устремив очи свои на несчастную женщину...

Она также остановила свои взоры на Иве Олельковиче...

— Что было, тожде есть, еже будет, что было сотворенное, тожде имать сотворитися; и ничтоже ново под солнцем!.. — произнес громогласно священник.

— Что было, того уже не будет, не будет!.. — произнесла томным голосом кликуша, не сводя очей с Ивы Олельковича, который также смотрел на нее, как на что-то незапамятно знакомое.

— И се вся суета и произволение духа, и несть изобилие под солнцем... — продолжал священник.

— Несть, несть любви под солнцем!.. — продолжала кликуша, не сводя очей с Ивы Олельковича. — Иди сюда, иди!.. Смотри! — сказала она, вскочив вдруг на ноги и схватив Иву Олельковича за руку. — Иди!

Она повлекла его вон из церкви. Ива Олелькович не сопротивлялся идти за кликушей, Лазарь не отставал от барича, спутница также — только народ стоял в нерешительности: ждать конца проповеди и присяги идольников или бежать также за кликушей.

Пробравшись сквозь толпу ратников и народа, окружавших церковь, кликуша скорыми шагами ведет Иву на пригорок, где стояли палаты господские.

На выходце^[256] стоял в военной Литовской одежде молодой Боярин, подле него сидела молодая, прекрасная собою женщина.

Кликуша, завидев их, устала обе руки и закричала:

— Вот он! вот!.. он не идет в храм божий!.. он боится меня!.. я призвала бы его там на суд божий!.. У-у, у-у, у-у!.. Вот она!.. моя разлучница!.. У-у! у-у!.. у-у!..

— Уйдем, уйдем, Юрий! — вскричала молодая женщина на выходце, вскочив с места.

— Не бойся, милая Ненила! Это безумная!..

— Смотри, смотри?.. Как тебя зовут, богатырь? забыла!.. Э, дурень! да ты не видишь, что он любит другую!..

— Пан Воймир! — вскричал Лазарь, рассмотрев удаляющегося с выходца внутрь покоев Боярина.

— Воймир? — вскричала вопросительным тоном кликуша. — Кто это сказал?.. пойдём, пойдём!.. и меня узнают!.. скажут ещё, что я дочь Боярина Боиборза Радовановича, скажут ещё, что я жена дурня Ивы Олельковича!.. А я просто нищенская Мириана...

— Мириана Боиборзовна! — вскричал Ива Олелькович.

— Я познал ее, Боярин, со двора, — сказал Лазарь.

— Ой? — вскричал Ива Олелькович. — Моя жена?.. Спутница Ивы Олельковича грохнулась на землю без памяти.

— У~У> у-у! у-у! — завывала кликуша. — Отведи же меня, добрый человек, к моему мужу... нет! к моему родителю!

— Коня! — вскричал Ива Олелькович.

Послушный Лазарь в мгновение исполнил приказ барича.

Конь подан. Ива Олелькович сел; Лазарь посадил перед ним несчастную Мириану.

Ива Олелькович, обхватив ее левой рукой, понесся вон из селения; Лазарь за ним хоботом.

Над беспамятной спутницей Ивы Олельковича из Белгорода стоял в недоумении *вожатый* и весь народ, высыпавший из церкви.

Никто не постигал чудного события.

— Отвезите меня в Белгород, — произнесла она умоляющим голосом, очнувшись от беспамятства. — Отвезите! вот вам золото!..

Видя богатую ее одежду, с уважением отнесли ее на руках в дом Боярина.

Между тем, *скоком, летом по горам и по равнинам*, прискакал Ива Олелькович к реке.

— Какая река? — спросил Лазарь сидящего в лодке перевозчика.

— Ипать! — отвечал он.

— Перевези нас!

— Куда путь держите?

— За Киев, на Днепр.

— Дорога водою прямее.

— Ой? — вскричал Ива. — Давай лодку!

— На лодке. Боярин, не доедешь, идут барки вниз, Днепром, до моря, садись на них и с конями Барка двигалась уже с места. После коротких договоров герои мои вошли в барку

Пустились вниз по реке.

Мириана Боиборзовна то смотрит в глаза Иве Олельковичу и молчит, то оглядывается назад, о чем-то думает и молчит.

Ива Олелькович торопит гребцов и сам помогает им пенить веслами волны.

Спустились в Сошу, спустились в Днепр, проехали Киев, приблизились к порогам Днепровским...

— Эгэ! вот и Весь Новоселье! — вскричал Лазарь. — Эгэ! вот наше стадо на горе...

Мириана Боиборзовна вспыхнула.

В ней ожило чувство.

Причалили к берегу. Вышли.

И вот... Не угодно ли читателю обратиться к началу этой книги... а я между тем запою новую, звонкую, звонкую песню на старый лад.

Есть древнее Славянское присловье: "Добрая песня мила и богам!"

Комментарии

"КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. БЫЛИНА СТАРОГО ВРЕМЕНИ"

АЗ — на Готском языке значило бог, первый, начало.

По Длугошу, у древних Поляков слово Аз яла Яз означало также бога, величайшего из богов, соответственного Юпитеру. В Славянском языке аз значит я.

Ян Длугош, и с ним другие польские хронисты XV–XVI вв., в духе кватроченто и чиквенченто расцветили этнографические материалы своего времени, сочинив целый славянский Олимп по образу и подобию любимой ими античности. Песенная Лада превратилась у них в Марса или, по Матвею Меховскому, в Леду, мать Кастора и Полидевка, а непонятое, слово *lassa* (из католических обличений начала XV в.), по Вельтману, Аз — в Юпитера. Интересно, что местоимение Аз — Я до сих пор остается привлекательным для различных спекуляций, хотя методика историко-филологических исследований в целом ушла с тех пор далеко вперед.

АЗАК-ДЕНГИС — озеро Узов.

Имеется в виду Азовское море. Узы, или г узы (в русских летописях), — тор к и, кочевое тюркское племя, выделившееся из племенного объединения огузов и к середине XI в. вытеснившее из южнорусских степей племена печенегов. В союзе с князем Владимиром они в 985 г. ходили в Болгарию; в 1060 г. неудачно воевали с русскими князьями, а через, четыре года вторглись в Византию и дошли до Константинополя, но вынуждены были отступить. Поселившись затем на реке Роси близ Днепра, торки вместе с берендеями на стороне русских князей боролись с половцами.

АЙГЕР — по-Монгольски зн жеребец.

АЛТЫН, Алтан — по Монг золото. На Руси — денежная единица и монета достоинством в шесть денег.

АМАЗОНКИ. — Воинственный народ, состоящий из одних женщин — это вымысел древних поэтов. Что жены некоторых из древних народов были мужественны и ходили на войну за мужей или с мужьями, это не вымысел.

Далин в своих изысканиях пишет, что местопребыванием Готфских Амазонок была Кону-Горд, т. е. земля жен, Куэнландия, Квенландия (в северо-западной части России).

Исторический Алхимик Мавроурбин, обращающий все народы в Славян, пишет, что Славянские, т. е. Готфские, Амазонки жили при р. Волге, между Меланхленов (Черноризцев: вер, Булгар) и Сербов.

В сих же местах жили и древние Хуннгары, и потому Кону-Горд есть не что иное, как Хуннгария.

В "Повести временных лет" — одном из основных источников знаний Вельтмана о Древней Руси — приводятся выписки из "Хроники Георгия Амартола" (византийского историка IX в.): "Другой закон у гилий: жены у них пашут, и созидают храмы, и мужские деяния совершают, но и любви предаются сколько хотят, не сдерживаемые своими мужьями и не стыдясь. Есть среди них и храбрые женщины и женщины умелые в охоте на зверей. Властвуют жены эти над мужьями своими и воинствуют, как и они... Амазонки же не имеют мужей, но как бессловесный скот однажды в году, близко к весенним дням, выходят из своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами, считая то время как бы неким торжеством и великим праздником. Когда же зачнут от них в чреве, — снова разбегаются из тех мест. Когда же придет время родить, и если родится мальчик, то убивают его, если же девочка, то прилежно вскормят ее и воспитают". [\[257\]](#)

В русских сказках о Царь-девице и Девичьем царстве рассказывается, что это царство находится далеко и его называют Подсолнечным, а главный город окружен стеной с отрубленными "головушками на тычинушках" (о которых рассказывает Геродот, говоря о Таврии, а через тысячу лет после него — Аммиан Марцеллин). Город охраняют, между прочим, Ягишны. Конная Баба-Яга, или Яга-кобылица, мать оборотней-кобылиц, согласно другим сказкам, живет "за степной рекой", среди шелковых трав, у криничной воды возле моря — т. е. речь идет скорее всего об амазонках, живущих у Меотиды.

АРКУЧИ — приговаривая. Древн Слав слово. "Ярославна рано плачет Путивлю городу на Забороле, аркучи: о Днепре Словетицю..." — Слово о Полку Игореве.

В древнерусских рукописях все слова писались слитно; здесь следует прочесть: «аркучи», т. е. "а рекучи", "а говоря".

АТТИЛА — царь народа, который как метеор возжегся неизвестно где, пролетел над Европою, опалил се, рассыпался и потух. Аттила был дивен и велик. Юпитер, усыновив Александра, не устыдился бы почесть Аттилу вторым своим сыном.

По летописям Китайским, говорит ученый наш о. Иакинф, народ Монгольский, до исторических времен, отделился от обитателей

Туркестана и Бухары. Китайцы, до времен государя Яо, называли его *Хунвюй*, при династии Ся — *Сюнвюн*, при династии Инь — *Гуйфан*, при династии Цинь и Хань — *Хунну* и *Гунну*. Потом сей народ носил имена: *Сянби*, *Жужу*, *Тулга*, *Кидань*, *Татар* и *Монгол*...

При сем должно заметить, что Хунну и Гунну есть не название, но прозвание народа, ибо: "в 15 году по Р. Х. Китайский Министр Ван-Ман предложил переменить название Хунну на Гунну", ибо Хунну или Хун-ну значит *алой раб*, а Гун-ну значит *почтительный раб*... (стр. 34. ч. 3 Запис о Монголии).

Итак, те ли же Хунны, которые в начале 2-го столетия "погибоша аки Обри" в Азии, появились незаметно в 4-м столетии в Европе? На этот вопрос История не дает ответа.

Происходит ли Аттила от какого-нибудь Таман-Шаньюя, Цзюйдиху-Шаньюя или Сюйлюй-Цюаньцуй-Шаньюя? — Это тайна.

"Малый рост, широкие плеча, небольшие глаза, редкая борода с проседью, нос курносый, смуглое лицо и вся наружность довольно обличали происхождение его". Вот слова Иорцанда об Аттиле.

По этому очерку Аттила и все Гунны Дунайские обращены Историками в народ кочевой, в Монголов, тогда как *млат небесный* в столице своей, *на горячих водах*, в *Хуннгарии*, в просторном, роскошном дворце, принимает посольства от Императоров Греции и Рима, говорит им волю свою и угощает их точно так же, как некогда угощал послов Греческих древний Владимир, Русское Солнце.

На могиле Аттилы Гунны совершают *Страву*^[258] (см. "Иорвавда"), т. е. Тризну, по обычаям, которые сохранились в Малороссии при погребении гетманов...

Но... пусть и народы, как солнце, являются на *Восток* и идут на *Запад*.

АШ-ТАРХАНЫ — древнее, настоящее название Астрахани. По Татарским преданиям, сей город построен владельцем *Аши*. *Тархан* значит *свободный* (от уплаты налогов. Тарханная деревня Аштархан, упоминаемая в документах XIII в., находится на берегу Волги, в 12 км от современной Астрахани. — А. Б.).

По другим преданиям: при Хане Узбеке поселялся в сем месте *Аджи* (путешествовавший в Мекку), из фамилии *Тарханов*, почему и назвался город по его имени *Аджи-Тарханом*.

Но слово *Тархан* было известно уже в 12 столетии в названии города Тама-Тархана (Тмутаракань; в греческих летописях — Таматарха).

Уже в IX в. слово тархан означало феодала у тюркских народов — в

частности, у хазар.

БАБА-ЯГА. — Сказочное понятие о ней известно каждому, но Баба-Яга должна, кажется, относиться и к мифологии древних Руссов; между Южными Славянами не отзывается о ней ни одно предание, и потому должно искать ее между язычниками Скандинавии или Северной Скифии. — *Золотая Баба*, известная под именем *Юмалы*, у Лапов называлась *Акха*, т. е. *древняя* (матерь богов). Идол Акха был толстый деревянный пень, которому приносили жертвы.

Догадка Вельтмана справедлива — образ Бабы Яги восходит к древней мифологии, видимо, ко временам крушения матриархата, и под разными именами известен у многих народов. В русском народном творчестве известно две Яги: лесная, живущая в избушке на курьих ножках в дремучем лесу, и степная — родственница "Тьмуглаваго змея" — кочевника, исконного врага хлебопашцев.

БАЙДАН — название оружия (см. древнее сказание о победе в. к. Димитрия Иоанновича Донского над Мамаем). Слово сие есть испорченное Готфское *branda* — клинок.

Байдана, бадана, бодана (от араб. badana) — кольчуга с широкими коваными кольцами. Ошибка Вельтмана произошла, видимо, от неправильного толкования текста «Задонщины», в краткой редакции которой сказано: "Грянуша копия харалужныя, мечи булатныя, топори легкие, щиты московския, шеломы немецкие, боданы (Здесь и ниже разрядка в цитатах моя. — А. Б.) бесерменьския". Ср. пространную редакцию: "Испытаем мечев своих литовьских о. шеломы татарския, сулиц (дротиков. — А. Б.) немецких о боданы бесерменьския".

БРАТИНА — кружка.

Вернее, ее древнерусский прототип — сосуд в форме горшка, в котором подавались напитки; пить из братины можно было по кругу.

БУЯВЫЙ — хмельной (см. "Дивье..." в «Светославиче». — А. Б.).

ВАРИТА — древний музыкальный инструмент, у Чехов.

Во времена *Хайдна* был и во Франции инструмент, называвшийся *Vàriton*, ибо во многих партитурах *Хайдна* писана музыка и для сего инструмента.

ВАРЯГИ — Шведы. В древности назывались *Swerige*. Слово *Swerige* Греки и Русские преобразовали в *Варягов*.

ВЕДРО — погода (ясная). Происходит от Готфского слова *Waeder* — погода.

ВЕЖА — обзорная башня.

"А при ней "(при церкви св. Софии) вежу сооружи и верх позлати". — Еф Лет. Иногда значит крепость, укрепленный город.

ВЕЧЕ — народное собрание в древних вольных Славяно-Русских городах.

"Новгородци бо изначала, и смоляне, и кыяне, и полочане, и вся власти яко же на думу на веча сходятся, на что же старейшие сдумают, на том же пригороди станут", — говорит Лаврентьевская летопись, на которую, видимо, опирается Вельтман. Вообще вече означало совещание по особо важным вопросам, на которое могли собираться либо правители города, знать, в том числе князь, либо городские «меньшие» люди, городская беднота, либо все горожане; вече могло означать и совет воевод городского ополчения в походе; это наиболее древний институт народовластия.

ВЕЧИНА — верховная воля, определение, закон, решение, суд, приговор (вынесенный вечем. — А. Б.).

"И вечину *проволати* в народ", т. е. приговор Веча провозгласить народу. (*Суд Любуши.*) Отсюда *увечали* — присудили.

ВЕЩИЙ — премудрый, предвидящий, проницательный.

"И прозвали Олега *Вещим*", когда он вернулся в Киев после успешного похода "в греки", — говорит "*Повесть временных лет*".

ВИЛА, — У Южных Славян Вила было существо подобное Русалке, Нимфа, живущая по великим горным лесам и по скалам близ озер и рек. Вила молода, прекрасна собою, облечена в тонкую, белую, длинную одежду; коса распущена по плечам и персям; она никому не делает зла, но если ее затронуть, она мстительна: ранит стрелой в ногу, в руку или в сердце.

"И веруют в Перуна, и в Хорса... и в Вилы... и мнят богинями, и тако покладывахут им требы и куры им режють", — сказано в "*Слове против язычества*" XIV в. ...

ВИРА — в старину название подати.

Вероятно, слово Греческое.

Значение этого древнейшего слова — денежная пеня за убийство. Соответственно оно с большей достоверностью возводится к древнегерманскому *vēr-geld* (с тем же значением).

ВИТЯЗЬ — значит Герой; в Молдавском языке значение слова *vițiaz* сохранилось (см. «Витязь» в «Светославиче». — А.Б.).

ВОЛОТОВО ПОЛЕ — так называлось кладбище древнего Новгорода:

ГАЙДУК. — С древних времен буйные головы Славянского

поколения, обитающие ныне в Сербии, Боснии и Ерцгерцеговине, избегая над собою мирной власти, удалялись в горы и жили промыслом вооруженной руки. Они назывались *Гайдуками*. Заключая между собой союз братства, не превосходивший 10–12 человек, они избирали старейшину, имели свой *притон* и складчину (оставу). Добычу их составляли чужеземцы проезжие и богатые купцы.

Истинный Гайдук имел своего рода *честь*: не убивать того, кто не сделал ему зла. На подобных условиях соотечественники, мирные граждане и правление не презирали их и не преследовали. Их считали за людей, созданных для постоянной войны, вечной опасности и безусловной, безотчетной воля. Если они и делали зло обществу, то не по нужде и средствах к пропитанию, не по порочным чувствам, но по страсти к буйной жизни и независимости, и потому права их на подобную жизнь, как будто подтвержденные обществом, вошли в обиход. Прохожие и проезжие платили им беспрекословно дани.

По преданиям, в Боснии, на горе Романии, один Гайдук, устарев, и будучи уже не в состоянии лично требовать дани, разостлал на дороге кабанью шкуру и воткнул близ оной в землю меч. Это было понятно для проезжих: всякий клал несколько денег на шкуру, как в сборную кружку. Храбрость и молодечество многих Гайдуков, воспевались даже в народных песнях. В XVI и XVII столетии из прославившихся набегами на Турков были: Стоял Янкович, Сеньянин Иво, Иво Голоторб, Илья Смильянич, Байрактар Комнен.

У *Морлаков* (по Добровсиому, Мавро-Влахов) начальник Гайдуков назывался Сердар Харамбаша (Данница 1826, Вук. *Караич*).

ГАНЖУР — священная книга учения Шягэ-Муни, содержащая в себе 108 томов и писанная на Тибетском языке.

ГНЕЗДО — племя, род. "Гнездо есмь Князя Владимира".

Ср. в «Задонщине»: "...гнездо есмь великого князя Владимира Киевскаго". "Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо, далече залетело", — говорится в "Слове о полку Игореве".

ГОДИНА — час.

Употребляется в этом значении уже в Апокалипсисе XII в.

ГОЗАП — одежда из звериных кож. Была у одного из Царей Дакии. То же, что кожух, от слова *кожа* или от *хъза*.

ГОЛК — шум, стук, сборище, стечение, по-Сербски *Гомиланье*.

"Бе же 2 пушки у чюваш; казацы же умолвиша голк их; они же бросиша их с горы в Ыртыш", — говорит Сибирская летопись.

ГОРН, горней, множ. горнцы — горшок, сосуд.

ГРИВНА — означение определенного счета или веса, условленное число, монет. Напр, гривна золота, гривна серебра, гривна кунь. В Лексиконе Трязычном: гривна пенязей, тпа, ті па. По-Сербски гривна значит: 1) железное кольцо, соединяющее косу с косящем, и 2) нарукавник из золота, серебра или латуни (Српски Ріечник).

Первоначальное значение слова — металлическое украшение, которое носилось на шее, и единица веса драгоценных металлов — отмечено в русских памятниках XII в. В последнем значении гривна соответствовала средне- и североевропейской марке и весила 68,22 г серебра. Монеты очень долго оставались разновесными, поэтому обычным было: "купить латынскыи ^[259] гривну зольга, дать весити"; "а у гостя имать... пол гривне серебра, да гривенка перцю". Гривна как определенное число монет (новгородская — 14 денег, московская — 20 денег) встречается в текстах XVI в.

ДАЖДЬ-БОГ — божество некоторых из Южных Славян. В Киеве был идол Дажба-Бог. Упоминается только в НесторНо и в Слове о Полку... Игорева.

В "Повести временных лет" сказано: "И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокоша. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими" (980 г.). Там же под 1114 г. рассказывается, что Даждьбог — Сын Сварога, бог Солнца. Со Сварогом и его сыном связывают летописцы появление патримониальной семьи и обработки металлов: "Во время цесарьства его съпадеша клеще с небесе и нача ковати оружие". В «царство» Даждьбога появляются государственные институты, налоги.

Датировать развитие культа Даждьбога помогает филология. «Бог» — иранская форма (boh), проникшая к славянам в период наиболее сильного скифского влияния, в VI–IV вв. до н. э. В русском фольклоре сохранился целый пласт легенд о божественном кузнеце (или двух кузнецах) — основателе кузнечного дела и победителе зловредного Змея, требовавшего человеческих жертв. У праславян моногамная семья и кузнецы появились уже в IX–VIII вв. до н. э., и, возможно, к этому времени следует отнести зарождение культа Сварога. Образ же Змея, на котором божественный кузнец пропахал знаменитые оборонительные "Змиевы валы", исследователями-фольклористами как

"гиперболизированное олицетворение реальной опасности", степняков-кочевников, жегших деревни и города ("огнедышащий змей").

Возникновение культов Сварога и Даждьбога совпало с зарождением героического эпоса древних славян; легенды о них отразились во многих циклах произведений народного творчества. Сварожичу — сыну Сварога — как богу огня поклонялись в отдельных районах России до начала XX в.; культ огня в многообразных формах являлся важным элементом народного сознания.

ДИДА — богиня любви и супружества. Венера Северных Славян. Испорченные ее названия — Дидилия, Дзидзилия, Зизилия, Циза. Это Скандинавская Диза (мать богов, земля), богиня любви, брака и урожая. Она изображалась ни пешая, ни едущая на колеснице или верхом, ни одетая, ни нагая, но сидящая в половину на овне, прикрытая только сетью, и с изображением новолуния над головою.

Мнение о существовании у славян такой богини основывалось, главным образом, на результатах начавшегося в XVIII в. собрания и изучения славянских народных песен, в которых не редки припевы типа: "Ай, дидо, ай, ладо!"} "Ой диди ладо" (исходная форма: "Ой-дид-ладо"). Но уже в конце XIX в. выяснилось, что слово «дид» может означать Лишь качество другого божества (ср. "Великое Божество" — *Dedis Demie* — в литовском языке). Упоминающееся же в двух средневековых сочинениях имя богини Дивий, или Дивы, прямо относится к античному пантеону: "Ов Дью (Зевсу. — А. Б.), жрет, а другой — Дивии" (ср. «Ма-Дивия» в надписях Крито-Микенского храма). О «создании» в романтический период славяноведения новых богов см. также Лад.

ДЫМВОЛОК — окно за печью с деревянною трубою в сени или во двор.

Дымовое, «волоковое», т. е. закрывающееся вставленной в пазы. заслонкой окошко еще в XVII в. встречалось не только в крестьянских избах, но и в царских дворцах.

ЗАВОЛОК — род шкафа с задвижными дверцами, у стен близ печи; в нем хранится посуда.

ЗАЙМИЩЕ — старое слово, то же, что облаве.

В таком значении в древнерусских исторических и литературных памятниках не отмечено.

ЗАРАНЬЕ — рассвет.

"С зараниа до вечера, с вечера до света летят стрелы каленым" ("Слово о полку Игореве").

ЗАРЕВ — месяц август.

В «Стихираре» XII в. читаем: "...месяц август, рекомый зарев, имат дний 31день".

ЗАЦЕПЫ — охотничье слово, значит лапы.

ЗВОННИЦА — колокольня,

ЗНАКОМЦЫ — бедные, бездомные дворяне, жившие из милости. у бояр.

ЗОРАНА — древнее Славянское женское имя, употребляемое ныне в Сербии и в Болгарии.

ИДЕЖЕ — где.

"И приде в словени, идеже ныне Новград", — читаем в "Повести временных лет".

ИДЕЛЬ, Эдель, Этель — по-Старотатарски значит река. От сего и название Волги: *Этель*, или *Атель*, а Дуная: *Атель-Кучюк*, то есть малая река.

ИЛВМЕНЬ — по-Татарски значит озеро *Лиман*, слово, проис от Греч, и то же значит..

Это объяснение было поддержано многими специалистами по славянской этимологии. Но нужно заметить, что в древнерусских текстах новгородское озеро называется Илмерь и происходит скорее от финского Илмајяүі.

ИЛЬМЕНЬ — Новгородское озеро, в старину называлось *Мойско*. Так вообще называли небольшое озеро или залив, образовавшийся во время разлива воды.

ИЩЕЙНЫЙ ПЕС — гончий.

КАЛПАК — Татарская шапка из шелковой материи, обшитая мехом (от татарского kalpak.- А.Б.).

КОРДЫ ЛЯЦКИЕ — Корды, испорченное Готфское слово *Sverda* — меч, так же как, наприм: *Valsca hialma* — Вольский, влахский шлем.

Корд, корьда — короткий меч, кортик. Название идет от индоевропейского корня (ср. персидский kârd, авестийский kâgata, древнеиндийский kartari- охотничий нож). В сред ненижненемецкий язык слово попало, вероятнее всего, из русского.

КОСМЫ — кудри.

КОСТЯНИЦА — костяника, ягода.

КЫРЬ — по Татарски-Вашкполе. От сего *Озу-Кыры* — Узовское поле, между Днепром и Азовским морем.

ЛАД — правильнее *Ладо*. По Длугошу, *Ляд* (по произношению Польскому) — бог войны, односвойственный Марсу. В жертву сему богу

Славяне приносили и людей. Недаром ввелась брань, вероятно, со времени упадка язычества: *пошел к ляду!*

ЛАРНИК — чин Веча, хранитель ларя вечаемого с деньгами и грамотами.

Существовал в древнем Пскове; у веча, однако, не было «чинов» — ларник был представителем городской администрации.

ЛЕЧЕЦ — лекарь.

"И аште и лечец прилунится, ты дождь цену исцеления его деля" ("Изборник Святослава" 1076 г.).

ЛИВАН — благоуханная Ливанская смола.

МОЙСКО — древнее название озера Ильменя.

В письме "О Господине Новгородѣ Великомъ? Вельтман писал, что это слово преобразовано из Maosz. В действительности оно ближе к слову мой, в диалектах — мойский, восходящему к индоевропейскому корню.

НЕЛЮБИЕ — ненависть, иногда досада (выражение летописи)

НАУТРИЕ — на другой день.

НАЧЕЛЬНИК — повязка девушек.

Она носилась на челе — на лбу.

НЕВЕГОЛОС — невежда.

НЕБОГИЙ — бедный.

НЕДРО — грудь.

ОБИЛЬЕ — трава, сенокосные пастбищные луга, от слова *былие* трава.

Witey leto liberzne,

Obilicko Zelene...

т. е. здравствуй, любезное лето, зеленый лужок... (Богемс песня).

ОБРЫ. — "В сии же времена (в 7 столетии) быша Обри, иже воеваша на Царя Ираклия и мало его не яша. Сии ж Обри воеваша на Словены и примучиша Дулебы, сущия Словены" (Нестор. Кенигс сп, стр. 11). Ираклий вступил на престол в 610 году до Р. Х. "В 624 году война возобновилась с Абарамы (Аварамы)... Приск, предводительствовавший войсками Ираклия в Мизии, совершенно погибал уже от недостатка в продовольствии, в разоренном крае... Хан Абарский (Аварский), хотя язычник, оказывает свое великодушие и снабжает войско Приска продовольствием. Великодушие Хана служит причиною к заключению мира..." (История Рима). Слова Нестора, поверенные Историею Рима, кажется, ясно доказывают, что

Нестор под именем Обров разумел Абаров, т. е. Аваров.

ОБЯЗ — пояс с пряжкой, на чем висит меч (древнерусская обязь, перевязь. — А. Б.).

ОДИН — был Верховный жрец и Правитель Азов, пришедших с Митридатом из Азии и поселившихся при озере *Темеринде*, получившем от них свое название: Азак-Денгйс или Озеро-Азов. Один был Царь *ТирНов*, следовательно, Азы были поколения *Тюрков*, т. е. Торков.^[260] Победителем на Севере Один появился около 70 года до Р. Х. и стал *ботом* в понятиях Скандинавов и законодателем сего народа.

Повсюду пронеслись слухи, что он в одну минуту может облететь свет, что он владеет стихиями, оставляет свое тело и переселяется душою в зверей, рыб и птиц, воскрешает мертвых и сам ложится вместо них в гроб, предсказывает будущее, посредством очарования и зелья возрождает силы человека и уничтожает их, поет песни,^[261] от которых разверзается земля и трескаются горы.

Он и сыновья его обладали Скифией и Холмоградским царством. В его походах участвовали и народы Славянского поколения.

В мифологических и героических песнях Старшей Эдды и других произведениях древней германской литературы Один — верховное божество, предводитель богов-асов, покровитель военных дружин, отец валькирий и т. д. Его функции весьма обширны, многочисленные одеяния" упоминаются, обычно мимоходом, во многих произведениях.

В духе своего времени, «романтического» периода историографии а филологии, Вельтман свободно пользуется сопоставлениями слов по созвучию и историческими ассоциациями. Германские боги-асы связываются с Азовским морем (входившим в состав владений знаменитого царя Митридата, воевавшего с Римом) и с узами-торками (см. Азак-Денгис), несмотря на их географическую и хронологическую несовместимость; название одного из германских племен, в свою очередь, ассоциируется с тюрками, что равносильно, например, сопоставлению небольшого племени из Средней Азии со всеми народами индоевропейской языковой группы (см. также Азы и Азгард в комментарии к "Светославичу").

Говоря о «песнях» Одина, Вельтман вольно пересказывает отрывки из "Речей Высокого" (Одина) в Старшей Эдде, в действительности насчитывающих 164 строфы.

ОЛЕЛЬ — древнее Славянское имя (упоминается в летописях и в

былинах. — Л. В.).

ОЛУЙ — масло, елей.

ПАРОВАЯ ЛУЧИНА (употребляемая в деревнях для освещения) — знач — годовая, сушенная в пару; связывают ее в снопушки (пачки).

ПЕНЯЗЬ — общее название денег у древних Руссов. Оден наложил на подвластную ему Скандинавию подать с носа, сия подать называлась пенязию (см. Далина).

ПЕРУН — идол древних Славян. Бог грома, молний; снега и дождя" Сей идол принадлежал более многобожию Литовцев, по сие время гром называется у них Перкуном...

Возникновение культа Перуна-воителя относится к героической эпохе расселения индоевропейцев (конец III тысячелетия до н.э.), когда образуются военные дружины, складывается военная демократия; это бог-гроза конных воителей-пастухов, вооруженных секирами, надолго ставшими символом божества. Культ Перуна засвидетельствован у южных славян, у славян полабских; он тождествен литовско-латышскому Перкунису-Перконсу, возможно, индийскому Парджанье, кельтскому (Perkuniā dr. Перун упоминается в "Повести временных лет" (см. Даждь-Бог). Видимо, с ним связаны были описанные там же человеческие жертвоприношения: "Мечем жребий на отрока и девицу: на него же падеть — того зарежем богом..."

В Киевской Руси Перун был уже богом — владыкой мира, первым из богов. Еще до крещения Руси началось постепенное замещение Перуна Ильей-пророком, едущим по небу в огненной колеснице: летопись говорит, что при заключении договора Руси с греками в 945 г. русы-язычники мялись Перуном, а русы-христиане приносили присягу в церкви св. Ильи. До начала XX в. во многих районах России сохранялись кровавые жертвоприношения Илье-Перуну; на начальниках изб и до сих пор вырезают иногда "громовый знак" колеса шестью спицами для предохранения от молнии.

ПЕСТУН — то же, что дядька.

Значит — воспитатель; например, в Остромировом евангелии: "Страсти святаго Вита и Медоста, пестуна его".

ПИДОБЛЯНИН — житель селения Пидьбы, на реке Лидьбе.

ПОГОСТ — прежде слово сие значило приходское село, ныне значит кладбище. Разделение селений на погосты сделано Ольгою. Каждый погост имел при себе несколько, окрестных зависимых деревень. Г Соч Ист Княж

Псковского полагает, что слово сие происходит от Греческого... «крепость», с округою подведомственных волостей и сел. Вероятно, *погост* значило приходское село; обычай же Христиан хоронить покойников при церквях дал погосту название кладбища.

ПОГРЕБ. — В летописях темница называется погребом.

Вельтман мог иметь в виду фразы: "И реши: пойдем, высадим дружину свою ис погребя". (Лаврентьевская летопись); "задохлися в погребе" (Ипатьевская летопись); "дружину его в погреб всадиша"; "првеле въметати в погреб что есть новгородец, а иных в гридицю" (Новгородская Летопись); "А инии, в погребях запечатавшися, подохша зном" (Псковская Летопись) и. т. п.

ПОМИНКИ — в старину значило: подарки в знак памяти, особенно при свадьбах.

В том числе подарки между государями; вXVII в. царь шлет Крымскому хану, "любительные поминки". Иногда означало дань.

ПОСВИСТ — бог ветра и безгодия. Его называли также Вихорь и неправильно: Позвизд, Похвист.

РЕЗЬ — процент (Русск Правда).

Упоминается в Правде несколько раз: "Аще кто куны дает в резь, или настав на мед, или жито в просон, то послухы ему ставити"; "а месяцьный резь, оже за мало, то имати ему"; и др.

РЕНЬ — пристань или наносной низменный песчаный берег, вообще в тех местах, где река отступает, обваливая противный крутой берег. В подобных местах волны, разбегаясь, выбрасывают на берег все плывущее на воде. Перуня рень — место, где пристал брошенный в воду Перун.

РУНЫ — иссеченные на камне или вырезанные на дереве Готические надписи в память великих дел. Рунических букв, употребляемых для сего письма, было 16, 11 сходных с древними Ионическими, а 5 неизвестных.

СААДАК — *Сайдак* — тул. "И не токмо Боемляне были храбровоинственные и изрядные *Сайдачники*, но и жены и девицы оные страны были такожде природою хрзбровоинственны" (Мавроурбин, стр. 42).

СВЕТОВИД, СВЕТОВИЧ. — Сему идолу поклонялись Северные Славяне, жившие при Балтийском море, называвшиеся *Поморянами*, и особенно на острове Ругене.^[262] По мнению Страленберга, земля

Холморугия (по Далину, Холмоградская) была между Ладогой и Пейпусом, но это ложно; древний остров Руген есть тот же, который и до сего времени не изменил своего названия: *"При Кануте IV, Короле Датском, Богу слав, князь Поморянский, вел войну с соседом Князем Ругенским Яромиром"*.

Примеч. В надежде скоро выдать *Славянскую Мифологию*, не распространяюсь здесь в описании *старых богов*.^[263]

СМАГА — жар.

В *"Слове о полку Игореве"* сказано: *"Поскочи по Русской земли, смогу мычучи в пламяне розе"*.

СОПЕЛКА, СИПОВКА — род маленькой дудочки с язычком.

"Возьмите сопели, бубны и гусли и ударяйте... — говорится в "Повести временных лет" — и ударили в сопели, в гусли и в бубны, начаша им играти".

СРЕДОВЕЧИЕ — возраст мужества, средние лета.

"Иным бо человеком в начатце похваление бывает, иным же в средовечьи, другому же в старости" (*"Софийский Временник"*).

СТРИБОГ — подземное божество древних Богемцев — вроде Плутона.

Так же как и Даждьбога Стрибога связывают со скифским (иранским) этапом истории праславян. Наиболее аргументированное объяснение имени Стрибога — "Бог отец", эпитет верховного божества как отца Вселенной. Возможно, что Стрибог, Сварог ("Небесный") и Род ("Рождаящий") означают одно патриархальное мужское божество, пришедшее на смену архаичным представлениям о Небесных Владычицах. Это позволяет объяснить, например, почему автор *"Слова о полку Игореве"* называет ветра "стрибожьими внуками". Объяснение Вельтмана основано на фантастических параллелях польского хрониста Яна Длугоша. Античным аналогом Стрибогу следует скорее назвать Зевса, а из скифского пантеона (каким его рисует Геродот) — Папая.

СТРУЖИЕ — оружие.

Вероятно, копье. В *"Слове о полку Игореве"*, откуда заимствовал это слово Вельтман, читаем: *"...сребрено стружие храброму Святъславичю"; "И дотчеса стружием злата стола Киевского"*.

ТАЙТЗИ — у Монг — чин.

ТАМА-ТАРХАН — настоящее название *Тмутаракани*, переименованное Русскими. Город сей, согласно с исследованиями и названием, есть *Тамань*, на левом берегу *Таманского гирла*; по-Гречески *Таматарха*.

VI в. на этом месте находился античный город Германасса. VIII–

IX вв. Таматарха входила в состав Хазарского каганата; после разгрома хазар Святославом в 945 г. Тмутаракань стала центром русского княжества. Под ударами половцев оно в XII в. потеряло связь с русскими землями, а в XIII–XIV вв. город Тамань под названием Матрика вошел в состав Золотой Орды.

ТЕПАТИ — по-Сербски значит заикаться. В выражении же: *варганы тепуть*, значит: *зычат*.

ТИАУКО — древний Ясский город на р. Герре, впадающей в Каспийское море. Означен на карте Ист Сербской Раича.

В Воскресенском летописце (Карамзин)) сказано, что русские воевали вместе с Татарами против Яссов и Алан и были "за рекою *Терком* (Тереком) на реце на Савенце, под градом под *Тетяковым*". Г. Карамзин полагает, что *Тетяков* есть нынешний *Дивен* или *Дебух* в Южном Дагестане. Но положение Тиауко на р. Саане (Севенце) более сходно с описанием Воскресенского летописца.

ТИУН, ТИВОУН — судья волостной или сельский.

Первоначально тиун — княжеский или боярский слуга, дворецкий, домоуправитель или назначенный князем из своих слуг управляющий городом, уездом, волостью. Вельтман пользуется поздним значением слова, появившимся вследствие того, что суд был одной из основных функций управляющего.

ТОЛА — река в Монголии, значит зеркальная.

УДАТНЫЙ — храбрый. Удатная дружина, Мечеслав Удатный.

Точнее — удачливый, счастливый; удача высоко почиталась воинами-дружинниками раннесредневековой Европы, отсюда прозвания «удатными» князей и дружин (так же как, например, Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Буй Тур Всеволод и т. п.).

УРДА — в Монголии.

ФАТА — шелковое клетчатое покрывало, которое Татарки набрасывают на голову и на плеча. От Татар издавна перешло в употребление в России. И донныне фаты употребляются поверх кокошника. Богатые фаты делают с золотым и серебряным утком; бывают различной величины: от 1 1/2 до 3 аршин.

ФЕРЕЗЬ — верхняя женская одежда. Происходит от Турецкого Фередже. Фередже у Турок надевают поверх всего платья, без одного женщина никуда не выходит.

До введения в 1670-х годах коротких «служилых» кафтанов царем

Федором Алексеевичем, фerezь была распространенной парадной одеждой чиновников царского двора, а также их супруг и дочерей. Само слово действительно заимствовано из турецкого языка, но попало в него из греческого.

ШАУСИН — вино из сорочинского пшена, употребляемое в Монголии и в Китае.

ШВЕЦ — портной.

ЩИТ. — У древних Славян щиты были и кожаные. "Щит его был обтянут тремя буйволовыми кожами" (Краледв рукоп). У древних Руссов были в обыкновении красные щиты. У Скандинавов простые щиты и шлемы бывали также из кожи.

Кожей, нередко в несколько слоев, обычно обтягивался деревянный щит, укрепленный также металлическими полосами и большой бляхой в середине для отражения ударов. Древнерусские щиты почти не сохранились, но судя по сообщениям византийских авторов, изображениям на миниатюрах и тем мечам, которыми владели дружинники, легкие плетеные и обтянутые кожей щиты были не в ходу. Летописи многократно упоминают червленые (красные) щиты. Скандинавы предпочитали сражаться пешими и носили большие щиты, закрывавшие почти все тело.

ЯРО — весна. "Бы везди Яро было, как бы зрало яблоко в саде". (Краледв рукоп).

Отсюда — яровые; ярь (яркость, блеск), яренье (пора — течка, ток — у животных и птиц) и т. п.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Примечания

{* Татарская игра, называемая Чахорды. Одна часть ребят становятся друг за другом, согнувшись, и составляют таким образом из спин мост; другие, по очереди, разбегаются и должны, перепрыгнув через всех, сесть на спину переднего. Который не перепрыгнет, на том ездят верхом. (Прим. Вельтмана.)

Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, подстрочные примечания Вельтмана. Все выделения в тексте курсивом также принадлежат Вельтману; выделенные слова, как правило, объясняются в подстрочных примечаниях или комментариях. — А. В. }

Здесь: староста. — А. Б.

Горшки. — А. Б.

Во время работы над романом Вельтман активно изучал проблемы этногенеза индоевропейцев и создал, опираясь на сведения исландского автора XIII в. Снорри Стурлусона, концепцию, согласно которой общность славянских и скандинавских народов в языках и мифологии объяснялась переселением из Азии — через Россию — в Северную Европу племен асов и ванов во главе с их вождем Одином (см. мою статью и комментарии. — А. Б.).

Такая легенда действительно бытовала в монархической историографии. Еще Н. М. Карамзину приходилось в "Истории государства Российского" опровергать достоверность грамоты русским государям на вечное владение землями "от моря Варяжского до Хвалижского" (от Балтики до Каспия), которая была "златопернатыми буквами" подписана Александром Македонским. — А. Б.

Здесь Вельтман понимает под руссами древних балтов. — А. Б.

"Призвание" новгородцами варягов в IX в. — легенда, вошедшая в основу официального родословия русских великих князей и царей. Вельтман относится к ней с явной иронией. — А. Б.

{* *Степенный* назывался действительно исполняющий должность; *Старым* назывался бывший. Точно так же *Степенный Посадник* и *Старый Посадник*. (Прим. Вельтмана.)

Верховой, конный.

10

Решили Вечем, общим голосом вечевого собора.

11

Древняя Русская монета; в Куне считалось 4 ногаты.

{* Черный, рабочий народ и кабальные холопы. (Прим. Вельтмана.)

О точном определении социального положения смердов ведутся споры; большинство историков считают их зависимыми крестьянами, но не холопами: ср. выражение Русской правды "смерд и холоп". — А. Б. }

Итальянским вином; фрягами в Древней Руси называли итальянцев: например, архитектор Жан Баттисто де ла Воло, а по-русски Иван Фрязин. — А. Б.

Древний Новгород разделялся надвое рекой Волховом и состоял из Детинца (кремля) и пяти концов во главе с конечными старостами. На западном берегу Волхова — Софийской стороне — находились Гончарный (Людин), Загорский и Неревский концы; на восточной, Торговой стороне — Плотницкий и Славянский. — А. Б.

Не летают. "Ширять соколом под небеси" — выражение "Слова о полку Игореве". — А. Б.

Огород, сад. — А. Б.

{* Украшение женское, касающееся до одежды. (Прим. Вельтмана.)

В русских летописях — драгоценные вещи. "Прииде Олег к Киеву, неся золото, и паволокы, и овощи, и всякое узорочье" (Ипатьевская летопись); в том же значении в "Слове о полку Игореве": "Орьтьмами, и япончицами, и кожухы нача мосты мостити по болотам и грязевым местом, и всякими узорочьи половецкыми". — А. Б. }

Парча, вообще шелковая материя.

Из полотна, тканного из крапивы.

Перстни. — А. Б.

Древняя женская богатая одежда из шелковых золотых тканей, из оксамиту, изарбата, китаи и пр.

{* Холм над озером Ильменем, где стоял идол Перун, а впоследствии монастырь Перынь. (Прим. Вельтмана.)

Археологические раскопки советского времени подтвердили это предположение Вельтмана. — А. Б. }

Виноградный сок; слово, сохранившееся в Молдавском и Сербском языках. И потому жертвенный хлеб у поклонников Световида пекся не на меду, как заключали наши Мифологи́сты, а на молодом виноградном соке, который заменял и дрожжи и мед.

{* Род сельских Сошников или Десятских. (Прим. Вельтмана.)

Вельтман использует позднее значение этого слова. В Древней Руси *кметь* — искусный воин, дружинник, витязь. "И рече ему Буй Тур Всеволод: ...а моя ти куряни сведоми кмети: под трубами повиты, под шеломы възлелеяны, конецъ копия въскоръмлени!" ("Слово о полку Игореве"). — А. Б. }

Древняя Русская монета. В грамотах Новгородских 1305–1308 годов к князю Михаилу сказано: "погон имати от князя по пяти кун, а от Тиуна по две долгеи... от воза по векше".

{* Светящаяся трава. Выражение летописи. (Прим. Вельтмана.)

"И бысть сеча силна, яко посветяше молонья блещашется оружие, и бе гроза велика и сеча силна и страшна" (Лаврентьевская летопись). — А. Б. }

Святых коней. — А. Б.

Чин боярской и княжеской свиты, ближний ("у стремени") слуга, телохранитель. — А. Б.

"Аже или не восхоцет, дай ему поухать зеля, именуема Эмшан. (См. Киевс Летоп, лето 1184.).

Счастье.

Холстины.

Вельтман использует известное выражение "Слова о полку Игореве". — А. Б.

В древнерусском языке «дѣчь» — дочь; позже писали «дчь» под титлом, обозначавшим сокращение слова. — А. Б.

Вельтман перефразирует обращение к Бояну в "Слове о полку Игореве". — А. Б.

{* Покормка. (Прим. Вельтмана).

Употреблено в "Слове о полку Игореве": "А галици свою речь
говоряхуть, хотять полетети на уедие". — А. Б. }

Здесь: кончанский, или уличанский, староста, возглавлявший горожан новгородского конца, или улицы. — А. Б.

Баня.

{* Лю бое. (Прим. Вельтмана).

Слюбно — полюбовно, мирно. — А. Б. }

Веревка; ужище корабельное — канат. (Лекс Трязычн.)

{* Брачный день. (Прим. Вельтмана.)

В древнерусских источниках отмечено также "смильное заставание" — обличение в прелюбодеянии; «смило» — приданое. — А. Б. }

Название «харатейные» (т. е. пергаменные) летописи часто употребляется в "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина. Заимствовано из летописцев XVII в. А. Б.

Имеется в виду "Ядро Российской истории", сочинение А. И. Манкиева, ходившее в XVIII в. во множестве списков и опубликованное в 1784 г в Москве под именем князя А. Я. Хилков. — А. Б.

Поклонника Магомета, мусульманина. — А. Б.

Хмель, смешанный с мелкими деньгами; в старинных обрядах свадеб осыпали невест: ходи в золоте, упивайся жизнью.

{* *Житыми или житейскими людьми разумелась зажиточные или старожилы. Из них жаловались и в бояре. (Прим. Вельтмана).*

В источниках известны старожильцы — свидетели (из крестьян) и "жилыцы. Чин их таков: для походу и для всякого дела, спят в царском дворе" (Г. Катошихин. XVII в.). В бояре те и другие не жаловались. — А. Б.
}

{* Двор Ярослава Владимировича. При сем дворе было вече и *торг*.
(Прим. Вельтмана.)

Слово «двор» в значении «хозяйство», «усадыба» встречается в "Слове о полку Игореве", но тогда же оно означало и дворню, вассалов. За комплексом архитектурных памятников в Новгороде закрепилось название "Ярославово дворище". — А. Б. }

Прокладывал дорогу.

Закабаленные крестьяне, жившие в феодальных наследственных владениях — вотчинах, отчинах. — А. В.

Княжеских дружинников. — А. Б.

Любек и Бремен — города Ганзейского торгового союза, имевшие обширные связи с Новгородом. — А. Б.

Древняя Русская одежда; у знатных: кожух, сухим золотом шитый.

Несудимые грамоты — право, даваемое Князьями монастырям, не быть под ведением властей по управлениям вотчин их.

Важнейший свод законов Древней Руси, Русская Правда, создававшийся с XI по начало XIII в. в Киеве и Новгороде. — А. Б.

Думец — советник (древн чин). "С добрым думцею Князь висока стола додумается, а с лихим думцею и малого стола лишен будет".

Военные и гражданские чиновники, выполнявшие определенные задания ("приказы") князя или посадника. — А. Б.

Деление новгородских земель на пятины (Водскую, Шелоньскую, Деревскую, Обонежскую и Бежецкую) известно с конца XV в. По пятинам велся учет населения и земель, раскладка налогов и организация, военной службы. Возможно, пятины существовали и в Новгородской феодальной республике, соответствуя делению города на концы и подчиняясь конечным старостам. — А. Б.

Честный камень — значит драгоценный.

Вржем — повергнемся. "Камо Княже очима позриши ты, тамо мы главами своими вржем!"

Унгрия, Угрия — Венгерское королевство. — А. Б.

"Сидеть" в каком-либо городе означало по-древнерусски княжить, занимать княжеский стол. — А. Б.

Выражение заимствовано из "Слова о полку Игореве" — А. Б.

Под-Ляхия, Подлясье историческая область Польши по: берегам Среднего Буга, в древности заселенная славянскими племенами и ятвигами. Входила в состав Киевской Руси. За Подлясье шла длительная борьба между Польшей, Литвой и Тевтонским орденом. В XIV в. оно входило в состав Литвы, а с 1569-го Польши. А. Б.

Паж (по-Венгерски).

Древнее Славянское имя, коим назывался Певец подвигов Святослава. О нем упоминает только певец Игоря Новгород-Северского.

Речь идет о событиях, связанных с битвой на реке Калке. — А. Б.

В описании примет Ивы Иворовича Вельтман использовал тексты грамот о Григории Отрепьеве, авантюристе, захватившем русский престол в начале XVII в. — А. В.

Здесь и далее Вельтман использует описание затмения солнца в различных летописях. — А. Б.

Ермолка, шапочка, которую носят Татары.

Халат.

Древнейший Арабский музыкальный инструмент, род гитары о 3–4 струнах, по-Гречески называвшийся Игитали.

Певец.

Горница. (Прим. Вельтмана.) Помещение под сводами, комната на верхних этажах. — А. Б.

Блестки.

Бархатные платочки.

Кусок.

Моль, правильное — тля. — А. Б.

Сторожем.

Мак-Фируз, Гюль-Беаз, Хадича, Мыслимя, Олынъ, Сабира, Айну-Хаят, Алха — татарские женские имена.

Душа моя, любовь моя!

Жеребцов.

Род тюники; женская татарская одежда.

Отвес сзади и нагрудник, унизанные различными золотыми монетами.

Нарукавье.

Здесь: род халата. — А. Б.

Воины. — А. Б.

Прислужница Харэма.

Башня, Татарское слово. (Прим. Вельтмана.) От татарского «кала» — крепость. На Руси слово появилось в XVII в. — А. Б.

Здесь: кинжал. — А. Б.

Труба.

Хлеб.

Татарское сладкое питье, из хлеба или из овса сделанное.

Черные мяса, сострунить — охотничьи термины. — А. Б.

Пряжка. "Обязы (поясы) златые, чекан золот", с вставными драгоценными камнями, бирюзой и жемчугом. (Прим. Вельмана.) В контексте приведенной цитаты чекан может быть и топориком с обухом-молоточком, на длинной рукояти. — А. Б.

Тестъ.

Пол.

В выражении: ни в куплю, ни в гостьбу значит: ни в продажу, ни в займы. (См. Русскую Правду). (Прим. Вельтмана.) В Правде читаем: "Оже кто купец купцю даст в куплю куны или в гостьбу", — то есть на проезжий торг. — А. Б.

Вражда.

Сафьяна.

Вельтман приводит цитату из новгородской былины "Василий Буслаев молиться ездил", известной во "Сборнику Кирши Данилова". — А. Б.

100

Июля.

Августа.

Колесница, воз. (Прим. Вельтмана.) Также небесная сфера: в "Хождении Афанасия Никитина" так названо созвездие Ориона. — А. Б.

Гарем.

Цыган.

Богомолец.

Охотничье слово; значит — хвост пса.

Хлеб пряный. Коврига, вероятно, имела вид треугольника: "всходящи солнцю на три углы, яко коврига". (Прим. Вельтмана.) В Лаврентьевской летописи под 1230 г. читаем: "Неции видеша рано всходящую солнцю бысть на 3 углы, яко и коврига, потом мнеи бысть, аки звезда". — А. Б.

Пресное хлебное: "В жертву приношены сему божку (Световиду) вино и погачи". По-Сербски — погача.

Купа — куфа, сосуд. (Прим. Вельмана.) Куфа — действительно бочка, а произведенное от него Вельманом слово «купа» в древнерусском языке значило: куча, кипа, группа, собрание и т. д. (ср. совокупность и др.). — А. Б.

Владелец дома, правильное — домовит. — А. Б.

Одна из вершин реки Днестра, в Галиции, до сего времени носит имя Стры; там есть и город сего же имени. Не было ли первое название Днестра — Стры или Стрый, т. е. быстрый; ибо прилагательное Дана у древних народов значило река, вода. Точно так же Днепр — Дана-Пры или Дана-Прый, не значит ли — первая река; ибо прый по древнему наречию — первый.

112

Круглая шапочка, род скуфейки.

Дочерма, или ячерма, или ячермица — род туніки без рукавов.

Полусапожки.

Герой, витязь.

Женское имя.

Славянское мужское имя, употребляющееся у Сербов.

118

Род кафтана с рукавами.

Вершина горы.

Простонародное старое слово, означающее вообще одежду (Прим. Вельтмана.) В основном рабочую. А. Б.

Зипун, зубун, жупан полукафтанье с частыми сборами, у молодых людей со схватцами (пуговицами). В употреблении и у Черкесов.

Домашняя русская женская одежда до колен, без рукавов. (Прим. Вельтмана.) Точнее, шугаем называлась короткополая женская кофта с рукавами, круглым отложным воротником, перехватом, отороченная лентами, телогрея, душегрейка. А. Б.

123

Курган, насыпанный холм.

Почти то же, что Русалка.

Коровам. — А. Б.

Султан, флажок на русском остроконечном шлеме. — А. Б.

Безрукавный панцирь из металлических дощечек, упоминается в "Повести о Мамаевом побоище" "Русские удальцы доспехи имеют велми тверды, злаченые колантыри". А. Б.

Перечисляя виды древнерусского вооружения, Вельтман называет и шерещиры, упомянутые в качестве аллегории в "Слове в полку Игореве" "Ты бо можеша по суху живыми шерещиры стреляти, удалыми сыны Глебовы". Значение этого слова до сих пор не расшифровано исследователями. А. Б.

Закута, псарная — жильё охотничьих собак.

Вельтман использует сведения "Повести о битве на Калке, и о князьях русских, и о семидесяти богатырях" из Тверской летописи. — А. Б.

Татары.

Вино из плодов и хлеба.

И древние Славяне имели обыкновение пеленать покойников, как младенцев, что и ныне сохранилось еще между раскольниками.

Гробница, рака.

Векожизный — вечный. (Прим. Вельмана.) По-видимому, слово составлено Вельманом. А. Б.

Аланов.

Валом.

Танаисе.

Январе.

140

Род туники, женская Татарская одежда.

Древнерусское речное и мореходное судно. — А. Б.

Дон.

Настоящее название Тмутаракани.

Чадырь.

Мыс.

Гор Аккерман, при Лимане Днестровском, в Бессарабии; название, данное Генуэзцами.

Бывшая Генуэзская крепосца, в Бессарабии, близ Лимана Днестровского.

Ныне Беңдеры.

Древняя столица Татар, живших в Бессарабии.

Смотри Нестора. Кенигс сп, 197 стр. (Прим. Вельмана.) То есть об этих крепостях сообщает "Повесть временных лет". — А. Б.

151

Деревянная лежанка перед печью, под ним (голбцом) лестница для прохода в подполье.

Рубленные в бревнах окна под потолком, заволакивавшиеся деревянными заслонками, — в отличие от красных, косячатых окон с бычьим пузырем, слюдой или стеклом. — А. Б.

Кусок, пласт мяса, слово «полоть» встречается уже в Русской Правде. — А.Б.

За урубление мечом.

Греческое испорченное слово «ипатос» — верховный совещатель. (Прим. Вельтмана.) В "Повести о Мамаевом побоище" говорится, что Мамай "нача глаголати ко своим упатом, и князем, и уланом". — А. Б.

Сговорился.

Книги писаны значило письма, послания письменные. (Прим. Вельтмана.) Встречается в летописях основное же значение слова рукописные книги. — А. Б.

Андреева сына.

Несчастье.

160

Лучше.

Желуди.

Названный брат; у древних Славян сей обет дружбы подтверждался обрядами. Поньше говорится: он побратался с ним. У Сербов: побратими, посестрими.

Черное море.

Жертвенник. "Воспылал обет".

Клятву.

В старом языке значило волость, область.

167

Место, где разделяются дороги.

Условленному.

Белая лунь — птица.

Ильмень.

Синей, красной и багряной материи. — А. Б.

Замок.

Здесь: столбы, ножки жертвенника. — А. Б.

Константин Багрянородный. (Прим Вельтмана.) Город Самват упоминается в его сочинениях. — А. Б.

Нож. — А. Б.

Мурин — Арап, Негр, черный человек, Мавр. (Прим. Вельтмана.)
Слово, видимо, найдено Вельтманом в "Изборнике Святослава" 1076 г
"Аште прменит мурин кожу своу". — А. Б.

Стул, т. е. лавка при столе.

Мъ значит: ми, т. е. мне; произносится же как мы.

Тъ — тя, тебя.

Варганы, бубны, трубы и котлы — древние военные музыкальные инструменты.

Этот мотив заимствован из "Песни о Нибелунгах". — А. Б.

Сильная. — А. Б.

183

Забор, городская стена; наличник шлема.

Розмирье — раздор. (Прим. Вельтмана.) В "Древнем летописце", изданном в Москве в 1774–1775 гг., Вельтман мог прочесть: "Того же лета в татарех бысть розмирие, и великая брань, и убийство, а на Руси тишина", — А.Б.

Пояс. — А. Б.

Кошельком. — А. Б.

Кожаный мешок. Делается из коневьей и бараньей кожи, в нем кочевые Монголы квасят молоко, держат воду и другие жидкости.

Шелковая разных цветов материя.

Сафьян, тонко выделанная крашеная кожа. — А. Б.

Латы, по-Татарски. (Прим. Вельмана.) Татарский куяк — броня из наборных металлических пластин, нашитых на ткань, — был весьма распространенным в русском войске XV–XVII вв. — А. Б.

191

Кожаный футляр для лука.

На части, пополам.

Нижнее женское белье, род юбки.

Род шапочки, женский головной убор, который носят под фатою или под повязкою.

Женский головной платок.

Вышитые золотом сафьянные на каблуках черевички.

Род нынешнего боа, ошейник из пушных мехов; носили только во время дороги, в холод. (Прим. Вельтмана.) В основе домысла — "Слово о полку Игореве". "Един же изрони жемчужину душу из храбры тела чрес злато ожерелия". Значило — ворот, шейное украшение. — А. Б.

Сироп из груш или яблок.

Кувшинах.

Крендели.

201

Вообще пирожное, от слова прягу — жарю.

Драгоценная бархатная материя. — А. Б.

Бисером.

Здесь: шейное украшение. — А. Б.

205

Род черевиков из сафьяна или кожи.

Кольца на сгибе кистей из меди, из серебра или из золота; древние браслеты.

Повязки.

Насмешливо.

Мраморной гробнице. — А. Б.

210

Селение.

211

Розовой и стройной красотой сияет.

212

ВЬЮТСЯ.

Шапка.

214

Оконце с железною решеткой.

У древних Славян ходили в гости на красный калач в Ильин день или в день имянин. Богатые праздновали три дня. Гости сходятся, пьют, едят и поют, потом разламывают на части красный калач, испеченный из пшеничного теста на дрожжах и осыпанный проскурником.

Колеса.

Кружках.

218

Место при входе, у порога. "Челом ударили на стану в избе".

Крендели.

220

Спальня.

У древних Славян после свадьбы было обыкновение давать пирожный стол в доме жениха, после чего тесть угощал зятя, что и называлось хлебником.

Чернь (Новгородская Летопись, 145 стр.)

Хвостом (Прим. Вельтмана.) Например, летописная "звезда с хоботом"
комета. — А. Б.

Славянский Кентавр. Известный в Русских Сказках Полкан богатырь.

225

Выведенный на воле.

226

Название вообще драгоценного камня.

Высокой. — А. Б.

Повязка на голове.

Посад, пригород.

Часть городской стены между двумя башнями. — А. Б.

Зубцы, гребень стены крепостной. (Прим. Вельмана.) Основное значение слова — грудь. Персь как часть крепостной стены встречается только в Псковской I летописи, откуда, видимо, и взято Вельманом. — А. Б.

Кремль, крепость. Название Псковского Кремля, может быть, происходит от слова Укромный, ибо в Кромахе были всегда погреба и тайники для укрытия жен и имущества во время нападений неприятельских.

У Монголов звание, принадлежащее зятьям владетельных князей.

У Монголов звание: управляющий знаменем.

Буйволов. — А. Б.

236

Палатка (по-монгольски).

237

Кружка, из коей пьют чай Монголы.

Дикая лошадь.

239

Кумыс, квашеное молоко, напиток монгольский.

240

Вино молочное.

Керамической плиткой. — А. Б.

242

Резная деревянная бахрома у лавок, у полок, у окон.

Покрывало для лавки. — А. Б.

Стол. — А. Б.

Здесь: возвышение. — А. Б.

Престол, торжественное кресло, трон. — А. Б.

Знамя. В Молдавском языке сохранилось слово сие. (Прим. Вельтмана.) Стяги часто упоминаются в "Повести временных лет" и других летописях; о "чрьленом (красном. — А.Б.) стяге" говорится в "Слове о полку Игореве". — А. Б.

Не спрягал.

Корзина.

Амазуни — на греческом языке значит: без груди.

251

Восстание, мятеж.

Дидис — по-литовски Великий, Диди-Ладо значит Великий Лад, бог войны. (См. в коммент.: Дида, Лад. — А. Б.)

Богиня непорочности (в древнеиндийской мифологии. — А. Б.).

Стенобитные машины. — А. Б.

Холмицам.

256

Род балкона с навесом.

Здесь и далее цитируется издание: Повесть временных лет. М., 1950. ч. 1–2. Цитаты приводятся в русском переводе или по-древнерусски (с упрощенной орфографией), если поясняются древние слова. — А. Б.

Страва в Малороссии, в Польше, значит кушанье. "Печальные обряды заключались веселым торжеством, которое именовалось Стравой и было еще в VI веке причиною великого бедствия для Славян". Карамзин, ч. I, с. 102.

МОНЕТЫ

Азы, Узы, Ясы — один и тот же народ; настоящее их имя должно быть Торки. Как переселенцев из Азии в Европу, вероятно, соседственные народы называли их Азами, т. е. Азиятцами. Прим. Азгард был первоначально столицей Одина (см. Далина). Птоломей говорит, что при Повороте Днепра, на левом берегу реки, выше Амадока, был горАзагориум.

Оден был вместе и стихотворец. Сохранилась его поэма в 120 строф, смысл некоторых следующих: "Не полагайся на ясность дня, на уснувшую змею, на ласки своей невесты, на изломанный меч, на засеянное поле, на сына могущества... Самая ужасная из болезней есть недовольствие своей судьбою. Посещай чаще своего друга, протаптывай дорогу к нему, чтоб путь дружбы не порос травой".

Литовцы также поклонялись Световиду под именем Swatostix (испорченное Светович) — Бог света. Стриковский.

Завершенной Славянской мифологии мы не имеем до сих пор, несмотря на наличие ряда фундаментальных исследований в этой области; из работ на русском языке можно рекомендовать: Фаминцын А. С. Божества древних славян. Спб., 1884; Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. Спб., 1913; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. — А. Б.

Полный обзор средневековых сведений см.: Niederle L. Slovansk.-Starožitnosti. Vira a náboženství. Praha, 1924, t. 2, s. 87-181.- А.Б.